

*Василий
Кляжков*



ЭКЗИСТЕНЦИЯ

Рванный роман

МЕТРО

С Комсомольской на Кольцевую по эскалатору спускаться глубоко, как в пропасть. Двигается нескончаемый поток людей – вверх, навстречу мне, и вниз, параллельно.

Привычно выстаивая свое время спуска на «чудо-лестнице», вдруг изумился, ужаснулся даже от этого множества людей – от внезапной догадки о том, на что не обращал внимания: каждый в этой толпе считает главным себя, и только себя! Главным, единственным и неповторимым. Его проблемы – самые важные, вокруг них вертится мир. Его мысли – самые значительные. В эту минуту существует только он. И так – каждый, каждая из этой толпы, и я в том числе.

Все религии мира, всех народов, говорят о том, что самое, может быть, важное, преодолеть этот порог отчуждения от всех, этот порог «самости». И совершенно ясно стало, что это-то главное условие движения вперед для души человеческой, скорее всего, недостижимо...

АГАПЕ

С человека спрос по полной возможен лишь после наступления его отцовства (или материнства). Только после рождения ребенка он по-настоящему подсуден нравственно. Воспитывает ли ответственность сама по себе? Меняет ли характер? Наверное, нет. Но вот любопытно: имеющие детей, внуков редко бывают мизантропами. Это внутреннее чувство, даже если его не осознают. Главное: произведший на свет жизнь человеческую – отец – сам должен стараться быть богоподобен.

И все мы – дети Отца Небесного. Не может быть того, чтобы Отец и Мать не любили детей своих.

Хотя бы и сокровенно, прикровенно. Каждый по-своему.



МОЯ ВИНА

– Похмели, умираю!

Пригляделся и ахнул: бывшая преподавательница по истории СССР. Помню я: никак не мог ей простить тройку за семестр. На экзамене она задала мне вопрос: назови классы современного общества.

– Крестьяне.

– Раз, – зажала она палец.

– И... и интеллигенция!

– Два в журнал, тройка за семестр. Базис и надстройку не знаешь, классы не знаешь. Иди и учи...

Помню, пытался оправдаться, бормотал ей тогда, что я комсорг группы, и что мне стыдно, и что, быть может, ещё бы вопрос... «Я учил»...

– Вот именно, – жестко и неумолимо оборвала она. – Комсорг, и не знает трех китов, на которых зиждется вся общественная история!

Она была неумолима и на педсовете. Не подействовали и уговоры завуча.

– Я ставлю тройку в воспитательных целях и имею на это полное право. Никто не смеет пренебрегать моими уроками, а он пропустил два занятия.

– Он делал стенгазету, вы посмотрите, какие статьи...

Она продолжала жестко курить «Беломор». На мой молчаливый вопрос при открытых дверях собрания завуч только сочувственно кивал, и я, пожав плечами, молча прошел мимо.

И вот это «похмели человека»... Похмелю. Поговорим о «классах». «Не вопрос...» – как любят теперь говорить молодые, на всё готовые волчата-сопляки.

Как пала... И как скоро! Ведь еще год назад видел ее прилично одетой, гуляла с внуком. Хоть и тогда была она уже заметно одутловата, как бывают водянисто одутловаты почечные больные. Кругла нездоровой и неопрятной тучностью... А ведь какой жёсткий стержень! Как гордилась собой, своими знаниями, эрудицией, незаменимостью своей...

Четвертинку, которую я ей принёс, не всю выпила, убрала. Для кого? Этого не знаю. Закрутила пробкой... А я бы с удовольствием проэкзаменовал ее на предмет современных, «нынешних» классов... Шел, руки в карманах. Тяжело билось сердце. Как много умных и хороших, «принципиальных» учителей погибло. Они считали, что эти «классы» поменялись с февраля семнадцатого. А их всегда было два – дураки и нахалы. Нахалы у дураков, оробевших и растерявшихся в 91-м, взяли все что можно и все что нельзя. Бессовестно, безоглядно обобрали... Унизили, опустили личность учителя ЕГЭ-придумками, Болонской системой, где поведение, выучка, принципы педагога перестали быть эталоном для ученика. Примером принципиальности, неподкупности... Широты познаний, наконец! Это поколение учителей особенно пострадало от нахалов. Своих же учеников! Они учили этих растиньяков, этих нахалов, этих чикагских мальчиков, «эженов сорелей» – учили истории и культуре. Убирали за ними дерьмо в детских садах. Добивались знаний и умения владения логарифмической линейкой... Тангенс и котангенс... Не научили главному – сердечности. Цифра выстраивает внешнее, литература и история – внутреннее... И вот – спились, разбиты инсультом, не выдержали удара «прослойки». Обнищали, потерялись в веретене времени, в том вихре, когда неясно стало опять: с кем же он – Иисус Христос, впереди кого?

Они безоглядно верили общественной истории, морали. Принципам. И я верил. Верил, что двойка моя заслужена, жалел о потерянной из-за нее Ленинской стипендии. Но все выглядело справедливо: стенгазета – в свободное от учебы время... Принципы... А потанины, гайдары, фридманы и боровые, бурбулисы, шеварнадзе и немцовы – те истории не верили. Их не «заучили». Но папы их были ближе к власти и к «правде». «Своей правде», которую они так точно выразили через подыгравшего им одесского юмориста-весельчака: «В СССР на майских октябрьских демонстрациях песцы и соболя (хищники) стояли на мавзолее и взирали на толпу внизу. На кроликов (опять же по шапкам дешевым – как статусу жизни), шагавших с флагами и с флажками...» Они открывали глаза многим и многим отпрыскам. Они умели фарпануть и не задумывались и не робели перед толстовским «Е. Б. Ж.». И Шекспир не напугал их судьбой Йорика. Они объясняли, что сильнее денег бомбы нет. А честность и «классы» – понятия, как мы видим сегодня, весьма условные... И уже не пыжики и соболя против собак и кроликов на парадах, а и вся Чечня от начала и до конца – тому подтверждение. И ваучеризация, и «МММ», и добровольный отъем денег у населения, сначала Павловым и Геращенко, а потом – дефолт с Кириенко. И нищета, нищета, нищета ограбленного населения ради десятерых... И всё законно и безнаказанно. Для «песцов». Вернее, для тех, кто за ними стоял... И все на местах, все они опять благополучны. Да ещё как! А наши учителя?.. Если бы она попросила цыкуты, было бы, наверное, легче слушать ее...

– ...Так что же... базис и что такое надстройка? – спрашиваю её, уже спяневшую. И жаль её, себя – до спазма и боли зубовой. И сам чувствую, как жестко забегали желваки на щеках.

Учительница не понимает или делает вид, что не понимает. О чём это – этот молодой ещё человек. Бывший ученик? Не помнит... Она слабо, благодарно – и жалко машет рукой. Она добрая, она уже другая, не «железная леди», не «стержень»... И уже опьянела. С голоду пьянеешь быстро. Ей уже лучше и легче. Это – на короткое время...

Я уходил, силясь не оглянуться на нее, машинально выщелкивая папиросу из пачки «Казбека». Это была заслуженная учительница, редкой честности. И я утешал себя тем, что не сделал ей дурного. И тем еще, что в ее падении нет моей вины. Чем мог, тем и помог ей, согрел и утешил её душу. Хотя бы на полчаса. «Нет моей вины... Нет моей вины», – утешал я себя мысленно... Но – полно. Так ли уж «нет»?

Или?..

КРИМИНАЛЬНЫЙ ТАЛАНТ

Показывали по ТВ очень известного в Петербурге авторитетного вора в законе. Незадолго до его смерти (расстреляли его через месяц и, по иронии судьбы, в том же питерском кафе, в котором он давал интервью, – расстреляли по заказу). Этот лет семнадцать промотавший по зонам авторитет с какой-то старорусской барственностью «двигал тему» насчет того, что философия жизни, в сущности, очень проста: делай то, на что имеешь талант от Бога. Правда, от какого Бога, он не сказал. «Все просто, художник ты – пиши картины, хороший вор – воруй...» Жизнь, по его мнению (вора и поэта) – всегда творчество.

Был такой в двадцатых годах – Ленька Пантелеев. Правильней – Пантёлкин, но незвучно. И вот этот простой деревенский парень, начавший с общественной дружины, ходивший с красной повязкой на рукаве и красной лентой на шапке, а затем перебравшийся в ВЧК, начитался детективов. Пробудилось в нем что-то, какой-то дух авантюриста. Выгнанный впоследствии и из ВЧК за явное воровство и присвоение экспроприированного имущества, подался он в вору и налетчики. И всякий раз искромётно придумывал новые сценарии ограблений сам или умело применял сцены из многочисленных прочитанных им детективов. Использовал ходули в ночных налетах у кладбища, причем налетчики накидывали белые балахоны, точно привидения возносились вверх и вниз, совершенно лишая жертв ограблений разума и возможности сопротивляться. У дверей дочери известного зубного врача-еврея, стоя на коленях, признавался Пантёлкин в душераздирающей любви, а когда она поверила, скинула предохранительную цепь и открыла дверь – была тотчас исхлестана букетом колючих роз и связана. Был связан и ограблен и её отец, и богатый пациент, явившийся на процедуру. И зубной техник. И даже домохозяйка. А чтобы стоящие в очереди не заподозрили неладное, Лёнька сам, не мешкая, вывесил табличку на двери: «Приём временно прекращён». Не раз он был почти пойман, но всякий раз уходил от погони. Лёнька Фартовый звали его – и кличка эта была им заслужена. Однажды он, притворившись дворником, влез в тулуп, взял метлу и задремал будто бы у столба на мосту через Неву. Когда догоняющие его спросили, куда побежал Лёнька, он показал им в другую сторону. Он угонял у Ленина лимузин, дразнил ВЧК своей причудливой, «бенгальского огня зажженного» сообразительностью, неуловимостью, отличаясь прямо-таки звериным чутьём... А прокололся на пустом: когда в трамвае чекист попросил у него закурить, он, загримированный и одетый в рванье, или шikuя, или блатуя, или просто по забывчивости, угостил чекиста лучшими папиросами «Ара», к тому же ещё и из золотого портсигара.

Некий артистизм и даже творчество воров слышится мне и вот в этом событии (прочел вчера в новостях). Некой богатой семье, богатой настолько уже в наше время, что члены этой семьи никогда не рисковали все сразу покинуть квартиру, а кто-нибудь да всегда оставался. И вот такой семье подбрасывают записку-приглашение в Большой театр на премьеру с Монсеррат Кабалье. С припиской каллиграфическим почерком: «Догадайтесь, от кого...» И они не смогли устоять. Эти «дворяне» нового разлива. Слишком велико было искушение...

А когда вернулись в квартиру, стало понятно, что обворованы. Хаос, раскардаш... И записка. А в ней той же рукой, как по прописям, с нажимом в нужных местах (теперь это большая редкость, доступная только истинным интеллигентам): «Ну, теперь-то хоть догадались?»

Жизнь – всегда творчество... В великом и в малом.

ОТПУСТ

По случаю похорон в вымирающей деревеньке собрались и стар и млад.

Нищенски, одиноко и горько жила бабка. Стояли и говорили, вспоминали, как она мучилась, из милости носили ей – кто хлеб, кто ведро воды. И когда закопали, вскладчину поминали, бабки крестились и с тайной завистью говорили: «Отмучилась, Царство ей небесное».

Высокая гнутая старуха в черном платке, черной юбке и кофте говорила – душу рвала:

– Сказано: наступят времена – живые будут завидовать мертвым. Вот и наступили они, времена эти.

– Где сказано? – спросил я бабушку Маню, зная ее с детства религиозной и богомольной.

– В жизни нашей несправедливой, греховной сказано. Ай ты не чувствуешь: молимся Богу, а сами завидуем мертвой, говорим: «Отмучилась! Отпустил Господь».

«ЖИВУТ ЖЕ ЛЮДИ»

В жилом доме сантехники ликвидировали аварию. Вылезли из подвала мокрые, грязные, злые. Сели на скамейку возле подъезда. Из открытого окна второго этажа разливалась музыка, высокий женский голос пел: «Ах, зачем эта ночь так была хороша...»

– Живут же люди, – сказал сантехник.

– Да, неплохо устроились, – поддержал второй рабочий. – С раннего утра море веселья, а мы как проклятые...

Сидевшая на краешке скамьи старушка искоса глянула на сантехников, сказала:

– Не приведи Бог так-то «устроиться»: с малолетства при костыликах. Бедняга в магазин за хлебом не может сходить. Соседи из милости приносят, она поёт... Давно ее знаю, по квартире прыгает на костылях. Прыгает, а всё улыбается... И красивая...

– Молодые все красивые: молодость, брат!

– Ну что же, все курум да курум, – сердито проговорил тот, что был самый старший, – пора и за работу братья...

– А ты... Эх ты... «Живут люди»!

– «Жи-ву-ут»... – передразнил другой.

«ВСЕХ ОБМАНУЛ»

Июльское утро. Макушка лета. Все еще спят. Неслышно собираюсь за грибами. Вышел на крыльцо – сердце ликовало от божественной красоты. Сад заливало солнечным светом, блестела роса на листьях яблонь и вишен, радостно чирикали воробьи. На улице ни ветерка, ни дуновения, и подумалось, что если будет когда-то чудесное видение, то не в ночи, не в ветер, а вот в такой тишине, светлой и безмолвной, когда на улице – ни души.

За деревенькой над молодым березовым лесом всходило малиновое солнце. На травах – роса, густая и серая в тени, на припёке играла изумрудами и сапфирами. Серебристая ольха нависла над тропой шатром. А за деревней в овраге косил дед Федот. За распадком-оврагом в загоне из жердей ревели телята, и хотелось выпустить их на росистую траву, растащить створки ворот по навозу на базу. Дед клочком травы вытер косу.

– Доброе утро, Федот Иванович! – здоровался я с дедом. – А раненько вы встали, раненько.

– А я, считай, вовсе не сплю, – задыхаясь, говорил дед. – Летом я только после обеда сплю, да и то только глаза завожу, дремлю... Да и то сказать: когда пташки клюют – дуракам деньги дают.

– Это вы о чем? – не понял я деда.

– Да вот, вишь, – трава перестояла, давно бы надо выкосить, а мы спим, проспали такое богатство. Я-то успел, не проспал. Вот, глянь, коса-то вроде кособочит? У тебя глаза молодые, глянь-ка.

От деда несло кисло вонючей сивухой, самогоном с утра. Курил он самосад. Я предложил ему сигарету, но он отказался: «Я сроду свой табачок курю, фабричным не балуюсь: кто знает, чего они там насуют».

Дед был еще крепок, и стоило ему только приложиться к рюмке – пускался в долгие разговоры, всегда горячился не в меру. В той бутылке, из которой он жадно глотал и закусывал розовым салом и свойским хлебом, было уже на доньшке.

Разговор зашел о прошлой войне.

– А ныне, аккурат, годовщина войне-то, будь она неладна. А я – нет, я на войне не был, слава Богу, не был.

– Да, годовщина... – вспомнив погибшего дядю, деда, контуженного, не пожившего, подтвердил я.

– ...Нет, а я на войне не был, слава, слава те, яйца...

Сизое лицо деда как будто опухло, сделалось лиловым.

– Я, брат, Федот, да не тот. Теперь все хвалятся орденами – трень-брень. А я хвалюсь тем, что пороху не нюхал...

– «Слава те, яйца» – это же блатных поговорка, а ты не блатной. Уж лучше Бога благодари. Да вот все говорят, что ты не глухой, а притворялся глухим, обманул врачей в войну... А моего деда в войну контузило.

– ...Не знаю, кого и благодарить. И в войну не укокошили, и в тюрьме не сидел! Врачей! Да я не только врачей! – заорал дед.

Он и был правда глуховат и всегда говорил громко, когда разговор касался войны или его актировки.

– Я! Да ты хоть знаешь, кто я! Я весь сэ-сэ-сэ-эр обманул, вот кто я такой! И никто с этими кубарями в петельках, никто – не поймал меня за зад. Вот всем сейчас плохо: цены большие, пенсия маленькая, ходят с костыликами. А я, как видишь, сено кошу, во-он ее сколько! А косить некому. У меня две коровы, лошадь, а кур, уток и не сосчитать! А почему?

– Почему? – удивился и я, зная еще и об ином, многом богатстве. – Почему?

– Потому, что я Федот, да не тот! – сказал как отрубил. – Помни Федота Ивановича, помни, не забывай. Пригодится. Ты живи так: «Будь, да не будь кем-нибудь!» Девиз такой держи в голове. Да помни, кто научил, и благодари... Ну, давай, мне пора, а то роса опадёт.

На том и расстались...

Сколько времени прошло, сколько лет. А забыть того разговора я не могу. Бывало, идёшь по лесу, собираешь грибы – да вдруг обманешься: лист вместо гриба. Я невольно говорю тогда листу: «Нет, брат, ты Федот, да не тот». Или поганка, а шляпка – белого...

БОГ НЕ ОСТАВИЛ

Стояла сушь, жаркая погода. Такая жаркая, что на молодых деревьях сохли и свертывались листья. Старики говорили: «И не помним такой жары. И картошка не уродится, земля – как зола». Но вот с раннего утра не было видно солнца, небо

хмурилось и нависало, как бы собиралось раньше свечереть. Крутило, мутило. Рисовало в тучах какие-то невероятные розы ветров... Наконец редкие крупные капли защелкали по листве, потянул легкий освежающий ветерок, листья на тополе затрепетали, потом широко-шумно заходили, задвигались. Шелест то утихал, то нарастал, как шум прибоя, и с каждой минутой смелел ветер. Где-то далеко глухо загремел гром, перекатываясь. Порывистый ветер погнал по улице кур, торопя их, и раздувая им перья сзади, и вздымая тучи пыли; с гоготом, споря, собирались во дворе гуси у пустого сухого деревянного корыта. Звонко закапали капли дождя по железной крыше. Шорох, перешёптыванье в саду, перестук капель по лопухам. Будто ожидая и зная наперед то, что будет, недвижимо, приподняв голову, каменел жеребёнок... И вот издалека, нарастая и ширясь, пришло шипение ливня.

На крыльцо вышли все, кто был дома. Ребятишки выбегали в палисадник, радуясь дождичку, визжали: «Дождик, дождик, посильней, разгони моих гусей! Поливай густо, вырастет капуста!..» Грянул оглушительный сухой треск, небо как будто расколосось. «Боже... свят, свят», – говорила бабка, крестясь на икону, и зачем-то закрывала зеркало полотенцем, затворяла окна и двери. И старые и молодые души охватила тихая долгожданная бурная радость.

Смотрели на сетку дождя, слушали вечернюю радостную музыку грозы, сошедшей мало-помалу на теплый грибной дождичек. Желанный дождь.

– С утра пошел, значит, кормилец, на весь день зарядит. Слава Богу, картошка уродится...

– Пошёл, пришёл, кормилец... Бог не оставит.

ВЫУЧИЛАСЬ

На выпускном вечере в школе-колледже были родители, преподаватели, друзья выпускников и, разумеется, выпускники. Несмотря на трудное время, родители постарались сделать все, чтобы этот день запомнился. Пестрые одежды, майки из американских флагов и бейсболки. Модные, малиновые и зеленые, не по размеру пиджаки.

Пили шампанское, и кое-кого пришлось выпроводить вон, а одну раскрасавицу учительница литературы отчитывала:

– Как нехорошо ты одета, Наташа! Ноги голые, грудь голая. А блузка на Вас? Это не блузка, а марля, сеточка. Помнишь, как я вам говорила? Цицерон сказал по этому поводу, помнишь? Он сказал в «Тусканских беседах»: «Обнажать тело на глазах у всех есть начало развращения».

Наташа слушала-слушала, подняла голову и отдельно, с расстановкой проговорила: «А хотите, я и юбочку сниму!».

РЕДКОЕ СЛОВО

Слово «клебляшка» вы не сыщете в словарях. Ни у Даля, ни у Ожегова, ни даже у Фридриха Арнольда Брокгауза и Ефрона. Это слово изобретено в нашей деревенской глухомани, на Рязанщине.

В те далекие времена, когда еще пекли хлебы в русских печах, замешивали тесто в деревянных дежах. Затевая, прикидывали на глаз, сколько полновесных караваев получится из опары. Иногда хозяйки ошибались, и тогда на противнях, кроме боль-

ших караваев, для экономии места из остатка опары оказывался неполный, меньше полновесного каравай хлеб – его называют и сейчас «клебляшка». Хозяйки хвалили свой хлеб, выпеченный на кленовых листьях, нахваливали клебляшку с золотисто-коричневой хрустящей корочкой, а смотреть на неё – глаз не оторвешь. Клебляшку очень любили и любят ребятишки, выбегают с ней на улицу, угощают ровесников.

Теперь хлеба в своих печах выпекают редко. Хлопотно, а возможно не осталось умельцев, да и потеряны, забыты средства, пропорции, методы, пути и советы «Рецепты». Бабушка моя пекла подовый хлеб на кленовом листе... Я караваев таких в жизни не едал, ни до, ни после...

Но не забыли слово «клебляшка», и прилипло это прозвище к молодой женщине – Насте, раскрасавице, небольшого росточка, с виду чем-то и впрямь напоминавшей клебляшку – вкусный каравайчик.

Настя торгует в сельпо, на уважаемом месте. Но зовут её по прозвищу, хоть вкрадчиво, а смешно:

– Клебляшка, милая, дай буханочку-то... Да и сахарку деткам.

– Опять в долг? Под будущую пенсию? – и, прищурившись или чуть приподнимая веко (по близорукости – очки она не носила, считала, что это портит красоту), записывала долг попрошайки в толстую бухгалтерскую книгу.

Работы в селе нет. Кругом Клебляшки – все должники. А поди всех-то упомни. Кто, сколько и за что должен. И сроки. Пенсию теперь оттянули, отставили. Должников в деревнях да в сёлах ещё прибавилось.

Довольный покупатель идёт с покупкой, а навстречу соседи:

– Глянь-ка, сегодня и сахар даёт?

– Даёт и сахар.

– Ну и Клебляшка – хитра. А мне вчера не дала. Сказала: на самогон не дам...

– Мы детям, ребятишкам.

– А-а, и я сейчас ребятишкам. Так и скажу...

«Клебляшка, милая, дай-ка селёдки посолониться. Мы без селёдки – голодные.

И хлеба», – слышишь в магазине.

Или: «Где-й-то вы чипсы купили?» – «У Клебляшки в сельмаге».

– Тарас?! И ты здесь, Тарас?

– Тарас есть пряники горазд.

– А цукаты?

– От цукатов ваших мы и брюхаты... – смело и громко, сквозь очередь шутила молодка.

Клебляшка не слышала ни смеха, ни шуток. Дело делала. Прищуривалась на весы, заворачивала, складывала, считала или записывала.

– Так, вам не дам. Два месяца прошло – ни одного долга не вернули.

– Клебляшка, милая...

– Нет и нет...

– Каждая... хочет пахнуть фиалкой, понимаешь. Ну дай хоть косушку, праздник же.

И видно было, как, уступая, Клебляшка чувствовала свою власть, своё влияние на толпу. В очереди ближние, чтобы потрафить ей – кричали «не давай», а дальние заступались за мужика-бобыля...

– Эдак, эдак, вся власть – она сегодня не в сельсоветах. В сельмагах. Вот у Клебляшки – и власть. У ней и богатство, и довольство. Эдак, эдак вот. Хотели капитализму – нате!

– Ой, испугала капитализмой, – лукаво прищурилась продавец. – Нам бояться неча, да мы и не бедствуем.

Клебяшка вышла замуж за пчеловода большой пасеки. И, конечно, не прогадала. Ее спросили как-то (она в это время отвечивала сахарный песок), хорошо ли она живет с мужем. Ответила: «Одна рука в меду, другая – в сахаре!»

– Эхе-хе... – отвечала ей старуха в чёрном. – Больно-то не гордись, сказано: «Богатство – в день, а бедность – навеки».

ВДОВА (записи 90-х)

Писатели всех стран и времен по-разному объясняли суть женской души, женской природы. Они и желанны, они и прекрасны, они и коварны. «Вай-вай-вай, сказал царь Бахтияр, воистину козни женщины ничто против замыслов мужчины...» Или: «Воистину, все это ваши козни женские. Воистину ваши козни велики!» (Сура 12. Коран)... И порочные, и добродетельные. Жестокие ли, милые ли... Женщины!

Лучше всех, как думал я прежде, суть женской души понимал И. С. Тургенев. И самое главное, что ценил он в женщине, – необыкновенную способность заботиться о ближнем. Он сам, по его словам, великой славы и достатка человек – был «готов отдать все свои писания за то, чтобы какая-то женщина заботилась о нем», которой «было бы безразлично, опоздает ли он к обеду».

Наблюдая себя, жизнь простых людей, приходишь к выводу, что – да, тратить себя нещадно и в мелочах, и по большому счету, заботиться о сыне, муже, внуках, внучках – самая суть женской души. И, что всего обидней, это то, что мы, мужчины, по большей части не то что не ценим, не способны ценить это бесценное сокровище – движение женской души навстречу нам, а даже и не замечаем его. И как тут не вспомнить Н. Заболоцкого, страдальца, гениального в своих последних стихотворениях поэта... «Микстуру в зеленую рюмку ему наливает жена...» А сколько раз в 90-х в семьях самого разного уровня приходилось наблюдать: женщина, мать, сестра, теща – приносит обнову. Принесла вот, стояла в очереди. Долго, трудно стояла. «Достала... Иди примерь, подойдет ли?» И тут в ответ: «Погоди ты с примеркой... Потом когда-нибудь... как-нибудь»... и прочее.

...Как-то стоял и я в очереди в то горестное время «дележа и голода» – «Святые 90-е!» – в тех хамоватых и беспощадных очередях, когда «вас тут не стояло» – было обычным делом. С записью номера очереди химическим карандашом на руке.... Тогда вмиг создавали очереди две-три тетки, взявшиеся «из ниоткуда», «как с неба свалившиеся». И тотчас, без причины – выстраивалась за тетками очередь. Рядом со мной оказалась женщина лет сорока, с редким пушком на верхней губе, с заметными морщинами на висках. Видно, что ни волосы, ни губы ее давно не знали красок, не улыбались её губы к праздникам, хоть одета она была как-то даже излишне опрятно, как одеваются обычно начавшие уже стареть одинокие женщины.

Очередь не уменьшалась, а увеличивалась, и уже бурлила ручьем – кто и откуда брался? А был канун Светлой Пасхи... Уже к вечеру оказалось, что стояли не зря. Детские откидные летние коляски «Мальвина» стали выносить лишь к закрытию магазина.

И вдруг:

– Уйду... – сказала эта очень понравившаяся мне женщина. – Уйду, не буду стоять, – сказала она мне, стоявшему в очереди за ней.

– Вы не будете стоять? – переспросил я.

– Нет, не буду, пойду... – И вдруг добавила: – Мне теперь не о ком заботиться...

И это её «теперь не о ком заботиться» – было тяжелее горьких слёз. Эта интонация отчаяния сразила меня тогда.

Сколько их, наших милых, добрых женщин овдовело тогда. От отчаяния мужей, потерянных ваучеров, вложенных не туда (а все вложили «не туда», как оказалось, и я сам). От французского технического спирта «Ройаль» для разжигания каминов, от фуфыриков «Ферейн» Брынцалова...

Думая-гадая о её судьбе, я достоял и добился коляски «Мальвина». У меня было двое на то время, но дали только одну. Красную, на девочку.

– А мальчужковую получишь, если ещё раз отстоишь три часа, – сказал мне грузчик. – Ельцину своему скажи спасибо. И Гайдару.

На третий день, ночью, выйдя на лестничную клетку с сигаретой (по талонам), я обнаружил, что коляску украли...

Не знаю, дым ли сигарет располагает к чувствам, чувства ли к дыму... И вспомнилась мне недавняя поездка. Работал я фельдьегерем о ту пору. Бригада у меня была боевая. Кто колбаски приобретал на продажу по дороге по Сибирскому тракту, кто шампунь, кто женские чулки. Но более всего выгоду давали водка и сигареты. Их брали на талоны, как теперь говорят, «с откатом». И вот на каждой станции набегала толпа к спецвагону, что было грубейшим нарушением инструкции, и под страхом увольнения мои коллеги обогащались.

– А вот чай со слонем! Кому надо – заварнём!

– А вот она! Гляди веселей! Колбаса.

– Варёная, копчёная? – спрашивали покупатели.

– Колбаса копчёная балда заворочённая! Налетай, не боись, покупай-торопись!

Мимо шла старушка.

– Бабуля, возьми старику «Примы», бутылочку – недорого отдам....

Она посмотрела снизу вверх на фельдьегера, стоявшего высоко, по-барски на фартуке, и вдруг расплакалась, разрыдалась.

– Да купила бы, милай, за любые бы деньги. Нет теперь у меня старика. Месяц, как помер...

И пошла, не торопясь, понуря голову. Поезд набирал ходу, обгонял её... Постой-постой, где это было? Под Пермью... Или Амазар? Впрочем, какая разница...

Покуривая в подъезде, решил я молчать в тряпочку, вернее – в сигарету про украденную коляску. Решил не огорчать жену. Да-а, уж на что «святое было время», ни в сказке сказать, ни пером описать. Кто делил восемь миллиардов помощи от МВФ, а кто полкартошки... Мужья, дети, семьи, оставленные без средств, – деньги отняли банки решением Геращенко и Павлова. Без медицинской помощи, без возможности купить даже и за баснословные ассигнации какую-то мелочь – народ вымирал по полтора миллиона в год. И это сошло, сходит с рук манипуляторам-чиновникам той поры... Поразительно! В царской армии капитан, утопивший корабль, сходил в спасательную лодку последним.

Но и это считалось позором, потерей чести. Подлинно капитан, дворянин либо уходил на дно с кораблём, сделав всё возможное для спасения экипажа и пассажиров, либо стрелял в висок, на виду у всех, на палубе. А эти... Эти все «на плаву». И сегодня.

...Так и не узнал я трагедию этой женщины. Но свято, конечно, не время 90-х «лихих». Свято женское горе... Никакой офицерской-фельдьегерской честью и кровью не смыть позора обиды и унижения наших бесценных подруг. Матерей сестёр, бабушек, дочерей. Девушек, женщин.

«...Да разве бы я своему старичку не купила бы чарочку, иди табачку... За любые деньги бы купила...»

«...Нет, нет, пойду. Мне теперь не для кого очередь выстаивать. Не для кого стараться...»

За слёзы детей и женщин нет, не может быть прощения.

«НЕ ЖУРИСЬ, ДЯДЯ!»

Про мат и бранные слова много сказано. И гневного, и оправдательного, компромиссного... Бесцветного много. Либерально-эпатажного – «быковского», быковатого. На толпу рассчитанного, на шумный дешёвый успех. Да это и понятно. Арена защищает и там, подмостки, где «мильён меняют по рублю». Без мата и эпатажа наш театр, как странно, стал так мелок, пошел, дурновкусие... Не поставят, не вдуют в текст классика похабное, так молодёжь и смотреть не придёт.

Помню, как на «Отелло» Дездемону в мужском обличье схватил в последнем акте Отелло.

А за спиной моей шепот молодой пары:

– Это кто? Дездемона? А почему она – мужчина?

– Это инверсия автора, дорогая. Это его право...

– А этот, толстый, большой... Отелло?

– Да, конечно. Ну, поняла теперь? А?

– Так тот мавр, негр. А этот белый....

В ответ огорчённый вздох:

– Значит, ты так ничего не поняла? Эх, ты... Не понять такую мысль.... Странно.

Это даже странно, честное слово.

И вдруг со сцены – матерная брань. Сказать правду – это не просто шокировало, это взбесило. Рассвирепев, какой-то работяга, слесарь что ли, вдруг поднялся с кресла и дал такую «ответочку» сцене, что все замерли. Повисло молчание, потом неудержимый, истерический смех заполнил этот горе-театр... «Вот куда надо чаще ходить, – подумалось тогда, – в слесарки. Там больше узнаешь и подчерпнёшь. А то какие-то студии “Гоголь-центры”... Выпендрёж!»

А ведь многим из моего поколения пели, не забыть, «Колыбельную» для Алёшки. Там и такие слова были (старший брат пел малому, которому два, – они остались сиротами, жалостливая песня):

У тебя на всё готов ответ,
Знаешь ты, Алёшка, да и нет,
Но не знаешь, Лёшка, только ты, только ты,
Что бывают синие киты...

Что бывает мятая трава,
 Что бывают бранные слова –
 Я тебя от них уберегу, сберегу.
 Спи, Алёшка, баюшки-баю...

Старая песня. Послевоенная, наверное. И здесь всё понятно. Ясно. Так воспитывают после большой всенародной беды. Войны, мора, голода. А тут – и ковид не берёт. Как были пошляками, так пошляками и остались.

Давно... Теперь кажется – бесконечно давно, в те времена, когда главный редактор журнала «Юность» спешно собрался и уехал послом в Израиль. Издал я в журнале этом у Лаптевой Эмилии Алексеевны и Липатова Виктора исследование, которое называлось: «Душа-частушка» или «Частушка – душа народа». Эта фраза кажется затасканной, а в литературе стала штампом. Кто и как придумывал частушки, еще никто точно не исследовал. В деревне и сейчас праздники, гулянья и застолья не бывают без частушек и самородных, «своих» песен. И, если верно рассуждаю я, частушка – зеркало, отражение времени. И вот в этом исследовании – ни единого матерного слова, а там была задача нешуточная: частушками проследить и подтвердить историю нашу. Нашей страны – России, затем и СССР. Частушки – без единого слова мата. Задорные, ёмкие. Грустные и залихватские. И Лаптева, и Липатов были удивлены, обрадованы. И в то нищенское время нашли шестьсот рублей (это по покупательной способности примерно то же, что и сегодня, в 2021 году), заказали позолоченную табличку и выдали торжественно. Тогда это называлось – «наградить литератора, писателя премией имени Б. Полевого».

В наше коварно-ковидное время грех и матерная брань не пугают никого. Привыкли. Девушки, молодёжь – и мы это слышим – порой загнут такой «угол!» «Слов немного, быть может пяток. Но какие из них комбинации!..» – сказал как-то сатирик. И вот в «центрах» Гоголя, Сахарова, Ельцина... – где только ни слышал я сквернословия. Но в театрах-центрах... Это по-настоящему ранит. Впрочем, отчего, казалось бы. Ведь издревле сцену, подмостки именовали не иначе как «позорище».

Частушка – душа народа... Но вот отчего-то в наше время, такое трагическое, когда апрельский коронавирус заражает и убивает миллионы людей по всему «земшару», как-то особенно скоро вошли и стали приметны, даже привычны слова, которые, на мой взгляд, хуже мата, страшнее. Это постоянно употребляемые формы глагола «убить» и слова, от него образованные. «Убийство», «убили»... «Убили врачи своим безразличием к больному коронавирусом»...

Молодая мамаша кричит малому сынишке в Москве, в центре Москвы, на детской площадке. Оба в масках от вируса. Кричит невнятно, в себя, «в горло», как сказали бы в театре: «Куда полез? Ну-ка вернись, сейчас убью!» Я не удержался, снял свою маску-намордник. Дело было в Отрадном, среди цветущего мая. Площадка – напротив противочумного центра и ресторана «Белая скала». Я указал ей на машины, прибывающие и отбывающие с огромными сумками-холодильниками для проб на вирус. «Камазы» с прицепными баками, до краёв наполненными пеной – антиковидной смесью, – то и дело выезжали, въезжали на мостовые и «пенили» асфальты и зеленую траву.

Я сказал:

– Малое дитя, во дворе играючи, полез вверх по лестнице, и молодая мамаша уже кричит: «Куда полез! Слезай сейчас же, убью...»

Она посмотрела на меня с нескрываемым презрением и ответила прокуреным, глухим, шипящим, не звонким, сатанинским каким-то звуком, в котором я не сразу разобрал:

– Не журишь, дядя. Это у меня присловье такое. Я так с ними со всеми, не только со своим.

– С кем – со всеми?

– Я заведующая вот этого детского сада, который закрыли.

Я обомлел. «Ну, эта заведующая, без сомнения, успела насмотреться “голубых” Дездемон и Отелло», – стало понятно мне. Или часто посещала с детьми «центры». А там хорошему не научат...

«Не убий» – первая из заповедей Книги книг, Евангелия. Православный народ, да и вообще христиан, было время, называли иначе: «народ Книги». Верующих Книге. Понятно, какую книгу имели в виду. Библию с её первой и главной заповедью. Кто может восстать на Библию? На веру? На нерушимую тысячелетиями заповедь, за которую во времена не столь далёкие отлучали мирян от причастия на двадцать пять лет?

Но вот даже и в деревне на свадьбе молодая женщина, при мне, желая подчеркнуть новизну и оригинальность частушки, умело притопывая, размахивая руками, пела:

А мне милый говорит:
– Милка, я тебя убью,
Неужели ты не чувствуешь,
Как я тебя люблю!..

И ещё:

А мне милый говорит:
«Милка, я тебя убью!»
Поневоле отвечаешь:
«Горячо тебя люблю!»

...Помню ещё, проходившая мимо противочумного центра – мимо нас с молодой мамашей старушка, по виду из тех директоров и завучей, которые воспитывали моё пионерско-октябрьское племя, услышала наш спор, остановилась и молвила:

– Убить-то легко, а душе каково?!

О ГЕРМАФРОДИТАХ И АФРОДИТАХ

И. А. Бунин, академик, лауреат Нобелевской премии, записал в своем дневнике 17 марта 1940 года: «Перечитал “Что такое искусство?” Толстого. Скучно, – кроме нескольких страниц, – неубедительно. Давно не читал, думал, что лучше. Привел сотни определений того, что такое красота и что такое искусство, – сколько прочел.

какой труд проделал! – все эти определения, действительно, гроша настоящего не стоят, но сам не сказал ничего путного».

А вот сборник рассказов японского классика Акутагавы Рюноске «Паутинка». (Новеллы. Москва, издательство «Правда», 1987 г.). На странице 354 статейка «Толстой»: «Когда прочитаешь “Биографию Толстого” Бирюкова, то ясно, что “Моя исповедь” и “В чем моя вера” – ложь. Но никто не страдал так, как страдал Толстой, рассказывавший эту ложь. Его ложь сочится алой кровью больше, чем правда иных».

Такие суждения, рассуждения, мнения авторитетов обескураживают, когда изучаешь все, что написал Л. Н. Толстой. Об «Анне Карениной» то и дело слышишь – «пошленький роман», о последних главах «Войны и мира» Флобер отзывался неодобрительно.

Очевидно, надо полагаться на себя, доверять только своим чувствам и уму и не обращать внимания на высказывания авторитетов. Прав У. С. Моэм, заявляя: «Эстетическое переживание имеет ценность лишь в том случае, если оно воздействует на природу человека и таким образом вызывает в нем активное отношение к жизни». Если так, то Дж. Лондон, загнавший себя в могилу, умерший в возрасте сорока лет, – гений. Но он весь вырос из Шопенгауэра. Немец, философ Артур Шопенгауэр – тёмная, как обратная сторона Луны. Как гермафродит в нравственном отношении он рождал и рождает своими писаниями фантомы. От него и Вл. Соловьёв, и Адольф Гитлер. Многие.

Напротив же Афродита, «Венера стыдливая», – вот та красота, о которой Достоевский говорил как о единственно возможной «совестливой» красоте, способной остановить мир на краю пропасти. Но как переврали, затаскали, «заслунявили» слова этого гения!

LIBERTY

Варианты перевода: «свобода, право, независимость, вольность, приволье...». А также: «...широта, обширность, широтная характеристика, терпимость, естественное высвобождение, непринужденность, необузданность, несдержанность...». Как широк диапазон той «свободы», которую нам навязали в 90-х? И в первую очередь, конечно: свобода торговли, свобода печати, свобода пустой болтовни... О, как много свободы! Судов, полиции и прокуроров, и при этом отмечают всё чаще, что СПРАВЕДЛИВОСТИ нет! Справедливость – вот ключевое слово для русского. Ничем наши действия не связаны, никто не несет ответственности перед Богом. Свобода морали или от морали – что получили мы? Свободу обычаям или от обычаев? То же и с законами... Много поэтов, а поэзии нет. Много блогеров, интернета, а включишь компьютер, посмотришь – только дурь и выпендрёж. Как низко мы пали при этой «свободе»! Свобода для людей слабых, без культуры, известных обязанностей перед обществом и т. п. – непереносима. Выйдите на улицу – и вы увидите мучеников свободы. Сокращенные на производстве, просто бездельники, перекупщики краденого, пенсионеры, которые не в состоянии прожить на пенсию, – все это мученики нашей свободы.

Выходит, мало кто из честных людей хочет «свободы». Почти все недовольны свободой. Кто знает, что таится в кладовых слова «свобода»? Наши слова,

поступки, действия не связаны ничем. Такая свобода непереносима для людей, привыкших к самодисциплине, порядку в обществе, ответственности. История ничему не научила. Она опять наказала, в который уже раз! Разве 1990-е не отзеркалили 1917–1924-й? Уже была такая свобода. Не окажемся ли мы опять под лозунгом «Грабь награбленное»?

Свободу у нас понимают как свободу от обязанностей. Глупее и опаснее такой «свободы» и быть не может. Все «Окаянные дни», все дневники праведников и страдальцев, святых, расстрелянных и растерзанных в Мурманске и на Соловках, на Колыме и в Бутово... Всё об этом и только об этом! Очнитесь, перефразируя великого провидца и пророка Ф. М. Достоевского: «Уж лучше со Христом, чем со свободой»!

О ВЕЛИЧИНЕ

Удивительный философ В. В. Розанов! Читаешь, и кажется порой, что он страдал от разжижения мозга. Как будто у него расшатался, расхлябался и мозг, и характер. Его попытка описать любой предмет с разных сторон, в том числе и нравственных, – потерпела полный крах. Он провалился в инфернальное. В теплохладность. В «Опавших листьях» совершенно нечего читать. Нет того Духа, который сокровенно и заведомо высок, и дарован как дар и одновременно как – требование поиска человеку. Можно ли было, мог ли он с его эрудицией подняться на высоту? Несомненно. А что вышло? «Нравственно неменяемая личность», – сказал о нем П. Б. Струве.

«План “Мертвых душ” – в сущности, анекдот, как и “Ревизора” – анекдот же», – написано в «Опавших листьях» В. В. Розанова. Если так рассуждать, то и «Анна Каренина», и «Госпожа Бовари», и «Монт Ориоль»... и многие другие шедевры – анекдоты. Мопассановская «Пышка» и многие, едва ли не все рассказы его – анекдоты.

Удивляет даже и не эта легкомысленность, которую встречаешь у Розанова на каждой странице, даже и не такие, не эти суждения, а отношение литературной общественности, и былой, его времени, и нашей – нового времени, отношение к анекдоту. Не как к хохме, а как к событию. Анекдот может так и остаться анекдотом, но не более того. Смотри по тому, в какие повествовательные одежды его одеть. Но сам по себе он вызывает интерес. Не игрой слов «на Привозе» – Одесском базаре, а темой, глубиной, когда она есть. У больших литераторов анекдот дотягивает до больших духовных высот. Таков Достоевский, который из вырезки газетной создаёт «Преступление и наказание», у писателей-«стилевиков», у которых «язык повествования – хорош, как замороженная клубника», – из вырезки газетной рождается «Лолита». И всё из случая, из анекдота. Но это – наши писатели. А О. Генри (Уильям Сидней Портер)? А Джек Лондон?.. Заметки из хроники местной газетенки сотни раз превращались в шедевры. Розанов же настолько неровен и противоречив, что иногда подозреваешь его в сокровенном желании очаровать и запутать читателя совершенно. Неслучайно он так активно издавался и переиздавался в 90-е, когда хоть кто-то и хоть что-то читал... Всё, что он написал, – исключительно игра ума, и ничего более.

В этом мире – и в слове остаются только Величины. И это справедливо!

«МАЛЫЙ НАЛОЙ»

Бабушка, убирая кровать в избе, клала две большие подушки – одну на другую, а сверху – совсем маленькую, как бы детскую. Каждое лето я проводил у нее в глухой рязанской деревне, и она, совсем уже дряхлая, тяжело нагибаясь, раз от разу убирала покрывала, подушки. Всё аккуратно. И покрывала сверху тюлем с каймой своего плетения. Мне смешна стала её аккуратность, раз от разу одно и то же. Щепетильность какая. Мы так в армии отбивали перевернутым табуретом и пряжкой солдатского ремня ризку на одеяле. Кантик.

– Дай-ка я по-новому уберу, бабуля, – сказал я ей. – Что посушу на солнышке, вынесу. На частокол одеяло. Высохнут – пыль погоняю. Поколочу их.

Она как-то странно посмотрела на меня:

– Ой, нет, нет, я сама... Мужикам убирать кровать – грех...

Почему грех? Она не стала объяснять, сказала только нечто уже слышанное:

«Мужики должны заниматься своими делами, а бабы – бабьими...»

– А вот маленькая подушечка эта сверху – зачем она? – полюбопытствовал я. – Прямо как в сказке «Маша и медведи».

– Это не подушка. Это думка-задумка...

– А почему ее так называли?

– Бог знает почему... На ей неловко спать, а только думать ловко. Заснешь, а голова скатывается, сама говорит, дескать, не спи, думай, как жить дальше... Да чего это ты, соколик, все спрашиваешь про бабы-то дела? Шел бы дров наколот...

...К. Паустовский любил рязанские места. Слова «родник», «окоем» – толкование их происхождения услышал на рязанской земле. Не хочу сказать, что Рязанщина только и говорит звучным, штучным, исконным языком. Тут и «ишшо», и «мяшок», «гребяшок», и «грыбы»... Но какое разнообразие слов! В одной деревне – Ванёк, в другой – Ванечка, километра за два-три – Ваньша, Ванец, Ванятка... Ленечка, Ленек, Леша, Алеша, Алексей... Когда мы ходили в соседнюю деревню учиться, если кто-нибудь прижмет руку или палец, кричали: «Уяк, уяк, ты мне палец прилошшил!...» Сколько хрустальных и золотых слов и оборотов ушло, кануло в Лету. Это и кулижка, и ялань, и чрезседельник. А кто знает, что такое кочедык, опояска, полость, гайтан? Но вот слово «думка» – осталось. Это и есть самая маленькая, с кулачок, подушка, та, что сверху всех, под тюлем.

Слова – жемчужины образности, как бы вмещающие в себя множество понятий, и среди них такие: «провал», «думка», «окоем»... Хотя эти слова еще живут пока и в Орловской, и в Курской областях...

На кулачке или на думке молились домашние молитвенники и молитвенницы – исихасты. Зрели они в молитве так: кулачок под ушко, кулачок на думке. И держат молитву Иисову. Чуть задремлешь, голова скатывается. Волей-неволей проснёшься. Или молились так. Садись на маленькую «стулку»: согбенный не заснёшь. Брала в свободную руку лжицу оловянную или железку какую. Если задремлешь, лжица падает на пол или в разлатую широкую тарелку. Сразу проснёшься. И опять продолжает движение молитва. И так всегда, всю ночь.

«Придя, найду ли веру?..» – вспомнилось из Евангелия.

И тогда понял я бабушку: подушечка эта была для неё не подушкой, и даже не думкой-задумкой, а малым домашним налоем для умной молитвы.

ЛЮБОВЬ

Старые люди благодаря большому жизненному опыту временами, а часто – в гневе, говорят крылатые фразы, высыпают перлы родного языка. Может быть, кто-нибудь и знает такую поговорку: «Волчок стоит, пока крутится». Имеется в виду юла. Раскрутишь её, она гудит и пляшет на месте. Останови её – и вот она уже на боку, большие круги выписывает и замирает. «Принцип велосипеда».

Я слышал вот что от одной старушки 89 лет. Ее спросили:

– Что же, бабуля, все работаете? Отдыхали бы дома, бай-бай...

Было раннее декабрьское морозное утро, в такой мороз хороший хозяин и собаку не выгонит на улицу. Мороз дыхание перехватывал. Быть на улице в такую пору – себя не жалеть. Бабушка уже убрала в сенцах, в проходной комнате, выметала мусор. Изморозь шубой висела с единственного оконца в сенцах. Из дверей пар так и валил, лишь приоткроешь их. Холод врывается в двери. Бабуля тяжело выпрямилась, седые волосы выбились из-под пухового платка.

– А чего мне дома-то сидеть? Если б я сидела да лежала, давным-давно была бы в тихой роще... Что, замерзли? А вы побегайте. Волчок стоит, пока крутится... Так-то вот я-то и кручусь... Дело – не дело, на ногах. Кручусь, чтоб стоять. Ляжешь да попривыкнешь – тогда всё. Конец.

– Что же, никто не помогает? – пропустив мимо ушей главное, удивились молодые.

– Я сама детям помогаю. Им много надо всего...

– А вам ничего не надо?

– А мне ничего не надо, всего хватает. Всё моё со мной. Оттого и крутиться мне – ловчее, чем им.

Но вот бабушка Мотя заболела, пролежала в больнице три дня и умерла. Увезли ее в «тихую рощу», а она так не хотела туда ехать, крутилась. И что же помогало ей? Забота о внуках, правнуках, детях... Всё для них. Искренняя любовь...

МЫСЛИ ВСЛУХ

Восхождение на Синай

О себе: я самый обездоленный человек в России – у меня ничего нет, и самый богатый – мне ничего не надо.

Диоген Синопский, писатель, философ (ок. 412–323 гг. до н. э.), возможно, лишь легенда, созданная светлыми умами. Я не разделяю максимализма Диогена, но по теперешним обстоятельствам, «в условиях рынка» со звериной мордой, когда крайняя нищета одних, обворованных, страшна обогащением вне всяких пределов и границ других, нарочито и цинично безнравственна при – и не просто обогащении даже, а грабеже наглом, напоказ... Кого в ярость приводят, кого – в смятение выпадает Диогена, и его высказывания о человеческой сущности, о самом существовании человеческой природы не только веселят, но и заставляют задумываться, сострадать. Людям. Сострадать и самому себе (даже)... И тут уместно передать незабвенный диалог великого философа с Александром Македонским.

Однажды Александр подошел к Диогену и сказал: «Я – великий царь Александр». «А я, – ответил Диоген, – собака Диоген». На вопрос, за что его зовут

собакой, сказал: «Кто бросит кусок – тому виляю хвостом, кто не бросит – об-
лаиваю, кто злой человек – кусаю». ...Так-то, это и происходит со всеми нами вот
уже более двадцати пяти лет звериного капитализма

Увидев мальчика, пьющего воду из горсти, Диоген выбросил из сумы свою
чашу, сказав: «Мальчик превзошел меня в простоте жизни».

Судьбе Диоген противопоставлял мужество, закону – природу, страстям –
разум. Когда он грелся на солнце, Александр, остановившись над ним, сказал:
«Проси у меня чего хочешь». Диоген отвечал: «Не заслоняй мне солнце».

А в другое время и при других обстоятельствах сам царь Александр будто бы
говорил: «Если бы я не был Александром, я хотел бы быть Диогеном».

...В мире все повторяется. Но Диоген – неповторимая, легендарная личность.
В конце концов «хиппи» не выдержали. Их «философия» столкнулась с миром
и не выдержала испытания.

Многие философы твердят о том, что человек несет в себе два «я», две ипо-
стаси, два начала – животное и духовное. И вот вопрос: где, с какого времени,
на каком пути нам внушили, что физическая, плотная часть – важнее, почему
пантеизм стал нашей религией и подменил собою подлинное Православие...
Где растерялись эти начала? С появления семьи, частной собственности? Го-
сударства? Неизвестно. Я этого не знаю. Но очевидно одно: людская природа,
все человечество идет по пути животного начала. И второе «я», нравственное,
совершенствуется всё меньше и меньше. Задержалось где-то на пути к истине,
к Богу...

У святых: тело лишь лошак, который доставляет душу к Богу на Синай. И на
этом ограничивается его задача. Перекормишь его – взбесится и скинет в про-
пасть. Недокормишь, сдохнет по дороге – и не видать Синая...

Похоже, что Диоген разбирался и в этом, главным, основном вопросе жизни
после жизни...

Без пути – без дороги...

У рязанских стариков и старух из глубинки, потомственных крестьян исконных
– из поколения в поколение слово «гулять» имеет смысл иной, непривычный для
городского. Другое значение: ходить на праздники в гости, справлять церковные
или советские праздники (демократические никак не приживаются). Гуляют с
выпивкой и старинными песнями, гуляют и на свадьбах... А вот приехать в род-
ные места, ходить по ягоды, грибы, на охоту – это не гулять, а «шаться»... или
«шататься».

По твердому убеждению стариков и старух, не может исконный крестьянин
старинной закваски бросить крупные дела и пойти по грибы (за грибами) или
на охоту. Немыслимо. Дело это не стоящее, серьезному человеку не приличное,
разве только глубокой осенью, когда все убрано... Людей таких презрительно
называют шатунами...

– Эх, и дурак! – говорили про одного заядлого охотника, дед и отец которого
тоже были охотниками. – Вот и шатается по кустам, бережкам да овражкам: зайца
выцеливает. Заплата на заплате, – и штаны, и рубаха, а ходит... Ветер ловит... Как
были они... – и тут довольно точное прозвище употребляется, – как были шатуны,
так и остались...

Если смотреть глазами старого крестьянина, а не городского жителя, можно понять исконных крестьян: ходить, «шататься» бережками да лужками – дело не стоящее. Презренное. Убьешь только драгоценное время, и ничего более, а дел в избе невпроворот. Даже если тебе дали выходной в совхозе, что случилось, в не столь удаленные времена да еще в деловую пору, редко отправлялись «гулять». Разве мало дел на дворе своего хозяйства? Даже если на больничном – «шатание» осуждалось. Не может стоящий, серьезный крестьянин, «рачитель», у кого в избе домовито, и живет он крепко, – не может пойти с удочкой, ружьем, с корзиночкой «шататься»...

– Это вы где же шатались-то?! – с беззлобным и как бы радостным удивлением спрашивала бабка, если мы рано утром вставали и она не слыхала, как мы ушли за грибами или на рыбалку. – Глянь-ка, а я ноне проспала, не учуяла вас...

А если за орехами ходить, гулять по заброшенному, запущенному саду, глазеть, «лупить глаза на облака», долго смотреть на совхозные поля в синей утренней дымке – это уже, несомненно, шатание, пустое и вовсе времяпрепровождение. Да что там: чтение книжек, написание стихов – смешны в деревне.

...Наблюдая стариков, старух во все времена, когда была «кое-какая скотинка», я заметил, что просто так старики не гуляли, не таращили глаза на облака, на закаты, на рассветы, а роса нужна им была единственно для косьбы утром, до травостоя полуденного...

Но, как говорится, «кто без греха, бросьте в него камень». Помню, бабка, – ох уж эти бабки! – помню, пошла она раз к соседке то ли за спичками, то ли за керосином для примуса, заболтались старушки, а дело было к вечеру, ужинать бы пора, а картошка даже и не очищена...

– Прощатались, – ворчала бабка сама на себя. – Фрося – чисто колдунья, вот только и слушай ее, все говорит и говорит... Прощаталась, без дела просидели битый час. Разговористая, ох и разговористая. Говорушка.

– И что, посидела бы и ещё.

– Да грех-то какой – безделовать!

...Летом, когда к старикам приезжают городские родственники, чаще вечерами, из окон слышались громкие голоса, песни, звенели старые балалайки, вздыхали гаммой гармошки с западающими голосами и басами... «Гуляют», – говорят старики про такие «теплые» дела.

– А что же и не погулять? – говорила бабка. – Наши вот не едут к сыну, и весточки нету... И погуляли бы, и за грибами пошатались... Все люди как люди: гуляют, по лесу шатаются, все грибы оберут, а наши ротозеи придут к шапочному разбору.

Если гости расходятся по домам в нестойком виде – тоже не дело: не гоже, тоже «шатаются». Таких встречают на улице ехидными улыбками, провожают взглядами с тихим ворчанием: «Нажрался на халяву – аж шатается, шаты-шаты... Жаден до выпивки...»

В соседнюю деревню ходили за спичками, солью, хлебом. В деревне не осталось «ни кола, ни двора», три старушки доживают теперь постоянно. Двухколесная тележка облегчает труд. Старики дня за три договариваются, так чтобы никто из них не был занят работой. Утром идут в сельпо соседской деревни, там ждут продавца. Бывает и так, что ровным счетом ничего не купят и тогда делятся между собой последним, чтобы как-то выжить, дожидаться, когда в магазин коммерсант

привезет из района что-то стоящее и недорогое. (И откуда это ощущение, что жизнь нельзя так просто пропить, промотать, прогулять. Эта врожденная память, что жизнь – дар великий. Часы скоротечны – беречь их следует. Ведь это врожденное, большая тайна...)

– Надо же так прошатались, день-деньской возле магазина ошивались.

«Почтальонша» – женщина предпенсионерка: не на пенсии, а «юная», в разряд молодых на пять лет переведенная пенсионерка. «Президент пять лет жизни всем добавил, от щедрот кремлевских»... Тоже «шатается». Ее ждут, надо получить пенсию, – а она тут знает всех, хотя живет в соседней деревне, километров за семь: тут чайку попьет, там угостят, если есть чем, а ее ждут, почтальоншу. Ждут долго, до обидного, «юную». И «шатается» она как-то особенно обидно, дурашливо: знает ведь, не приѐзжая поди из города, что надо кур кормить, козу подоить, поросенку корма задать...

– И где же это она шатается-то, поди-ка, глянь-ка, Маланья, ты на ноги-то легкая еще...

– Шатаются и шатаются... И чего шатаются...

И вот, когда я возвращаюсь в Москву от бабушки, я твердо понимаю, вижу, чувствую: редко кто занимается делом в этой самой Москве. Жируют, безделуют. Гуляют – одно слово.

Может быть, оттого так и живем? Не живем, а – «шатаемся»... Без пути-дороги...

ТАЙНА АСТАФЬЕВА

Когда Виктор Петрович Астафьев дописывал заключительную главу «Вечерних раздумий», он одновременно работал над романом «Прокляты и убиты»... Весь его «Последний поклон» замечателен тем, что каждая страница – искренний разговор с читателем. Писатель Астафьев – человек большого сердца... И все же поражает эта бездна, разделяющая его творчество: «Зрячий посох», эпистолярный его, и вот это: «Печальный детектив», страницы повестей и рассказов последних лет. Кое-где с сомнением, сожалением, но уже не с восторгом читаю позднего Астафьева... Искренность – вот главное, что пронес писатель-фронтовик через всю жизнь. Но и он говорит нам часто общее, «вообще» – «мы, народ, если бы...»

«Народ» – слово туманное, неопределенное, безликое. Дело в том, что «народ» никогда не жил ни плохо, ни хорошо, а скорее плохо и хорошо, смотря по тому, о ком идет речь. Даже в прошлые войны мировые, первую и вторую, – был такой народ, кому и война была «мать родна». Послушайте и сейчас еще стариков, они расскажут. Писатель, кажется, несомненно, прав, когда читаем: «Нет на свете ничего подлее русского тупого терпения, разгильдяйства и беспечности. Тогда, в начале тридцатых годов, сморкнись каждый русский крестьянин в сторону ретивых властей – и соплями смыло бы всю эту нечисть вместе с наседающим на народ обезьяноподобным грузином и его приспешниками. Кинь по крошке кирпича – и Кремль наш древний со вшивотой, в нем засевшей, задавило бы, захоронило бы вместе со звереющей бандой по самые звезды. Нет, сидели, ждали, украдкой крестились и негромко с шипом воняли в валенки. И дождались!»

Слова эти грубые и откровенные. И справедливые, а... хочется спорить...

Все дело в том, что и тогда, и сейчас, если говорить вообще про «народ», – он жил и живет так, что не хотел «сморкаться». А зачем? Жили многие плохо, но не все же. И эти «не все» были у власти, хорошо кормились и одевались-обувались... Они даже и теперь, в 21-м, «коронавирусном» году, всё никак не забудут, как они тогда сладко жили... И дети их, и внуки рассказывают, как сказочно жили их предки тогда. За город уехать, за Москву на дачи – не вопрос, по щелчку пальца, – и ТВ там. И семья, хоть в бункере, ни одна зараза не найдёт, не достанет. Ностальгия «по тому времени», да ещё какая. Вот некий господин Вольтман, уже в пандемии, ухитряется открывать забегаловки с вызывающим названием «Stali*n». Кругом, в харчевне с шаурмой, и при входе – портреты вождя, плакаты: «Жить стало лучше, стало веселее!» и прочее. Все повара и раздатчики шаурмы – в форме офицеров НКВД. Нет, это не провокация, не пиар, не расчёт «этический» на индифферентность и глухоту толпы, нет. Это тоска правнука, ностальгия по былому величию и уважаемой жизни чиновника. Тем паче – офицера, который, как пелось, многие помнят: «...а ты не лёгчик...». Да ведь это и не впервой, вот и в 2019 году в Московском дворце молодёжи был использован плакат для рекламы всё той же шаурмы – фоторисунок: Сталин держит-подаёт блюдо, а внизу подпись: «За качество будем расстреливать». В Донецке стикеры с лозунгами: «О каждом из нас заботится Сталин в Кремле». «Вот было время...» И видит, и слышит рукопожатная либеральная общественность. И молчит. Невольно задумаешься: а что, неужто большевизм и либерализм, который так глянулся последние годы В. П. Астафьеву, – уж не две ли стороны одной медали? Не продолжение ли сегодня – одного и того же глобального «проекта»? Богоборческого, равнодушного к винтику в толпе...

Понимали ли прежде смысл этого проекта? Понимали. И «сморкались». А тех, кто сморкнулся, – их мгновенно останавливали, так останавливали, что и сейчас помнят внуки и праведники... Сколько и сколько вспоминают и сейчас те времена с восхищением. И это ведь тоже народ, да еще какой: с орденами, синами, и не дураки. «И дождались!» – с сожалением пишет В. П. Астафьев. Да, конечно, «дождались» – с большим смыслом и большим подтекстом сказано Астафьевым, если, повторяю, говорить «вообще» о народе. Большинству народа: старикам, детям, сиротам, тем, кто не умел воровать, «жить и вертеться» и т. п., – жилось плохо и тогда (...да и сейчас многим тяжело. И лучше, возможно, не будет). Теперь-то мы умники, опыт есть, «культ» пережили, а что же не живем правильно? Чиновники, депутаты «от народа» – в упор не видят этот самый народ, «массы», «электорат». Кто они, эти массы, для них? Та же «пыль лагерная»? В лучшем случае – просто «лузеры». Об этом открыто и недвусмысленно, не стесняясь, говорил первый градоначальник первой столицы. И второй столицы – так же говорил. А за ними и представители олигархата – то же повторяли и не раз, и ничтоже сумняшеся.

В том-то и дело, что для любого правильного суждения, оценок жизни должна быть опора. Опора эта – сверхчувствие или сочувствие. Слово «народ» – пустой звук. Посмотрим вокруг нас: да так ли уж всем плохо? Многим ли плохо и сегодня, тяжело. Главное: работы нет, и не найдёшь. Могла ли быть безработица в те времена, проклятые Астафьевым? Нет, никогда. Найдут работу и даже заставят работать. Индустриализация. «Догнать Запад за 25 лет, иначе раздавят...» А сегодня? Вот на «лекусе» катит «госпожа» лет двадцати, безработная. Студентка

И покуривает, разговаривая в мерцающий мобильник, – а там покупают дорогой «суши», рестораны – на вынос, пандемия ведь. Коронавирусная. Поэтому – ананасы и дыни зимой, красное вино бургундское или «Медок» французский, белый. Многим ли дело до того, что в деревне, в глубинке не на что купить детям хлеб, леденцы... Стиральный порошок, макарошки да тот же спиртовой состав от вируса, чтобы не погибнуть зазря.

...Мы все теперь весьма и весьма полюбили товары в импортной упаковке, в брендах, так сказать, разбираемся. Вот тащат из магазина «Седьмой континент» мешки-пакеты, забывая багажники иномарок, расплачиваясь карточками «Виза» или «Розенкрейцер-банк», – как же, пандемия. А доставка востребована так, как в Америке, поди ж ты, не задействована. И этак – в любом областном городе. Да что там, областном – и в моем подмосковном и то! Мужичонка, всегда под хмельком, приходит с работы, а из кармана торчит виски – горлышко от бутылки. Удивляет остановивших его полицейских не то, что скотч в кармане его – шестнадцатилетней выдержки. Это уже не удивляет. Удивляет и печалит отсутствие маски, перчаток. Штраф. Восемь тысяч. И мужичок, хоть и огорченно, но достаёт требуемую сумму.

А одеты – особенно молодые, сильные, с мощными локтями и плечами?.. Нет, совсем им не плохо. Меньшинству – хорошо. Особенно в больших городах. Да что уж далеко ходить: писателям нашим, «западникам», – всем ли тяжело, многим ли уж так плохо? Дачи, машины. Раскрученные тиражи пустопорожних книг. И многие понимают, что да, книги пустопорожние, ни о чём. А что: во времена славного и «заслуженно» оплеванного теперь соцреализма не так было? Точно так и было. Тиражи, публикации... Смотришь: чепуха, сущая дрянь, а и в журнале, и в издательстве раскрученном, и в сборниках. И переиздаст несколько раз (кругом, в издательствах, журналах – свои люди). Переиздаст, по одному стихотворению или рассказу добавляя. Переназвал сборник, книгу – и опять гонорары, да какие! И премии. И при той, оболганной власти, и теперь – отдельными изданиями выходит. Собrania сочинений полумиллионным и миллионным тиражом... Примеры? Фамилии? Они и теперь на слуху, кто читал в то время – тот и сегодня знает их наперечёт. «Избранное»... А ведь даже и любой читатель скажет – чепуха.

Плохо жили? Нет, не плохо... И это тоже «народ», тот же народ. Более того. лучшая его половина, и даже «ин-тел-лиген-ция». Для такого «народа» та же наша теперешняя война глобализма с Россией и с православием – это и не война, а «мать родна». Не кто-нибудь, сам «Газпром» субсидирует оппозицию. Следом – «ВТБ»... Всех не пересчитать. Биржи кормят их щедро: «Эхо», «Дожди», «МК». Вот она и демократия. А на лечение больных детей скидываемся всем миром. По ТВ то и дело: «поможем ребёнку»... Главная задача любого правительства, именно любого – была и будет: кричать так, чтобы поверили. Поверили обещаниям, видимым делам, поблжкам. Ваучерам, льготам, ипотекам, «льготным» кредитам, сертификатам на новорожденных...

У нас особенно эти «льготы» любят. Ведь что ни говори, а слух ласкает: пусть и пустяковая, но льгота! Если бы я был в правительстве – составил бы график льгот: в июле – учителям, в августе – врачам, в сентябре – рабочим массовых профессий... Все умолкли бы и были бы довольны. Даже – самодовольны. «Льгота и у меня!» – как это тешит самолюбие. Человек, любой, кого ни возьми, желает всегда не только жить и иметь, но и возвыситься над соседом. Темна природа

От бабуинов пришло. Атавизм. А не изжить никогда. Оттого ни коммунизм, ни демократия невозможны, неспособны утешить. Правды в них ни на грош. Или не понимал того В. П.? Это с его-то опытом и печалью сердечной... Понимал, конечно. А вот читаешь его, и кажется: просто сдался на милость...

«Разгильдяйство и беспечность» – тоже ошибочное мнение В. Астафьева. Спроси почти каждого, нужен ли ему порядок? «Да, нужен...» – ответит каждый. А от кого требовать этот порядок? Конечно, от других! А если мы не желаем исполнять требования порядка? Ведь тогда потребуется вовремя приходить на работу, вовремя уходить, хорошо работать, на работе не пить, слушать начальство и грамотно выполнять распоряжения... Да мало ли? Нелегко... Покопайся каждый в душе своей: хотел бы он этого, порядка такого? А если хотел бы – то что мешает?

«Народ» – повторю – пустой звук. Есть отдельное лицо, личность. Должность – от низа до верха (по вертикали), и каждый обязан отвечать за своё. А кто у нас ответил за плохо да нерадиво сделанное дело? Даже – за трагедии-недоделки строений, обрушения, с жертвами, возгорания из-за профанации, за явное, по сути, выявленное и доказанное воровство? Мало кто, по пальцам перечесть. Хоть один олигарх-миллиардер ответил за то, что зарвался? За те триллионы, что выводятся в офшоры, многие ответили? Не слышно. И вот – монополизм, монетаризм в самом у нас расцвете. И всем как с гуся вода. Сухие. Мы и «КПСС» будто бы осудили за «страшные преступления». А кого конкретно? Никого. Осудили и разрушение храмов. А вернули колокола и кресты? Храмы в разоре. Какой позор – битва за то, чтобы Исакий остался музеем! Позор на всю Европу. Или собор под музей строили? А битва за сквер против строительства храма в Екатеринбурге? «Где же собачкам гулять?» Вернули уроки Закона Божьего в школах. Взгляните, ведь что не «видный революционер» или «народник» – неуд по Закону Божьему. Или непонятно до сих пор? «У нас конфессии!» Достойный ответ. А что Россия – многоконфессиональной и многонациональной прежде не была? Разрушали души безбожием, и уж кому-кому, как не В. П. – писателю великого таланта, не знать об этом. Так отчего же он так навстречу новым и пришлым «западникам» – то ринулся?

Ульянов (Бланк по матери) – Ленин принципиально гордился единственной тройкой и именно по тому предмету, который я упоминал. Гордился. Закон, Божий Закон нарушал, и тем чванился. И в Ульяновске в Мемориале дневник его всем показывают, а гиды в советское время на это особый упор делали: потому-де гений Ленин и в гении выбился. Личность. Ничего не изменилось. Разве вот – центр Ленина (чуть не сказал «и Сталина») переименовали в центр Ельцина и по иным городам разнесли.

Но ведь и В. П. Астафьев гордился едва ли не до самого последнего дня – тем, что не верит партиям и не верует в Бога. Фронтовик, повидавший многое, он уходил на праздник Победы в тайгу, в одиночество. Ему было что вспомнить. А какие романы и повести написаны в последние годы его жизни... А его встреча с Ельциным в родном селе, где по рюмке водки выпивали они... Закусили блинчиками, под камеру на ТВ. «Сажание рябинки», которую вскоре, по недомыслию конечно, сломали односельчане. А его ожидание Нобелевской премии по литературе, обещанной будто бы ему либералами. Обманули. И в который раз. Не дали Нобелевской премии. Дело обычное: обещать и не дать. Получается, что

использовали в своих целях. Использовали авторитет его и влияние. А не дали премии, потому что не свой... Сатана кидает десятирублевки золотые, полный мешок. Оглянулся – глина. Святые же учат нас, не слушаем, не внимаем. Троешники мы по Закону Божьему, вот откуда все напасти и несчастья на нас. Мне возразят, скажут: иных премий, поскромней, удостоили. Пятнадцать томов напечатали. Но откуда эта уверенность, и у таких людей даже, большую жизнь проживших, много испытавших фронтовиков, огромного опыта, маститых и большого ума писателей, – откуда эта уверенность, что пришли вот именно эти, те «господа» новоявленные, которые и нужны матушке России. И все могут сделать? Могут и сделают.

Сделают... но своим. И вот здесь грань, не тонкая – тончайшая, непреодолимая. Проходит интимно, сверхтайно. Понятна лишь «просвещенным», «продвинутым». Дать что-то «не своему» у них – преступление... А по-нашему – и разрушать церкви православные – не преступление. Как же так? И на что мы в таком случае надеемся? Вот он и ковид нам: одумайтесь! А снести и не вернуть кресты на могилы пращуров – преступление еще большее. Или Достоевский нам не объяснял, маловерам, в дневниках своих, в том месте, где о стрельбе в крест писал, в Святое причастие? А так – что же: господа при власти, «облеченные» властью, – не веря, они с удовольствием и притворы церковные прикрыли: ковид же! Повод и самом на литургии не присутствовать (не участвовать, а присутствовать хотя бы!), и никому не дают. Штрафы. В нашем храме такой приказ и висел, «указивка»: «150 тыс. рублей за несанкционированное посещение храма»... С видимым удовольствием напечатано. А вот на театрализованных представлениях в «центрах» разноименных – пожалуйста. Полтора метра дистанции... Равнение на-ле-во, на одного-двух линейных дистанции.... Шаго-о-ом... Арш... Они и без Бога хорошо устроились, – вслух проклинают прошлое, партийное членство, а на деле... Ничего не изменилось. Ни Бог, ни ковид не вернули им зрение. Десятерым ослепшим вернул через брение по Евангелию, а тут – нет, ни в какую. Вранье и двурушничество. И что, Астафьев не замечал этого? Нимало!

Помню, давно это было, читал я «пастораль» (Запутать редакторов хотел, хитрил. Какая там «пастораль»! Но и это не помогло.) «Пастух и пастушка» В. П. Астафьева, с его правдой о войне. В 67-м только опубликовали, решились... Куда он, бедный, только ни стучался, в двери каких только редакций, какие пороги ни обивал... «Нет, нельзя!» – был ответ. А прочитав, под впечатлением несколько дней ходил я (да ведь и молод ещё был). «Вот это автор! Такой никогда не согнётся, не сломается!» – так думал.

...И простые люди давно уже не верят – ни партиям, ни политтехнологам, ни правительствам, ни «думам», ни президентам, ни референтам их. Как один умный еврей говорил со сцены: «Никому не верю и сам себе не верю» – «Отчего же так? Даже и себе не веришь? Сам себе?» – «Нет, не верю ни на копейку!» – «Как, почему?» – «Да вот, раз пукнуть хотел и... таки обмарался». А в деревне частушку бабы поют, сам слышал:

На ночь глядя, в двери мне

Депутат стучался!

Ох, обрадовалась я...

А он воздержался...

«...Ничего не поражает в государстве такой неразберихи, как вводимые новшества; всякие перемены выгодны лишь бесправию и тирании. Когда какая-нибудь часть займет не подобающее ей место, это дело легко поправимое; можно принимать меры к тому, чтобы повреждения или порча, естественные для любой вещи, не увели нас слишком далеко от наших начал и основ». Так писал француз Монтень в главе «О суетности» уже в середине XVI века. Не о революции ли это 1917-го и не о нашем ли сегодняшнем времени? И далее: «Но братья за переплавку такой громады и менять фундамент такого огромного здания – значит, уподобляться тем, кто, чтобы подчистить, начисто стирает написанное, кто хочет устранить отдельные недостатки, перевернув все на свете вверх тормашками, кто исцеляет болезни посредством смерти, стремясь не столько к изменению существующего порядка, сколько к его извращению». Всё как по нотам, вся «партия» сыграна. Считана по буквам азбуки... XVI век!

Или вот другой философ, и вовсе ранний, Цицерон: «Мир сам себя не умеет лечить; он настолько нетерпелив ко всему, что его мучает, что помышляет только о том, как бы поскорее отделаться от недуга, не считаясь с ценой, которую необходимо за это платить». Это непонятно? И что, Виктор Петрович, с его умом, сметкой и огромным сердцем, – он не знал, не догадывался о том, о чем предупреждали эти умники ровно семьдесят лет до начала «нашей эры»? Знал, конечно. И далее следует вывод от того же философа: «Мы убедились на тысяче примеров, что средства, применяемые им самим, обычно идут ему же во вред; избавиться от терзающей в данное мгновение боли – вовсе не значит окончательно выздороветь, если при этом общее состояние не улучшилось».

И вот ушли авторитеты, многие... Ушли. И Астафьев ушёл. Но есть какой-то осадок, будто бы что-то ими недосказано. Недоговорено. То ли не хотели они досказать, попытожить что-то важное, кардинально меняющее все тождество, равенство, – что-то такое, что сместило бы все приоритеты, изменило бы знак нашей нынешней жизни – на противоположный. То ли побоялись они, то ли подыграли намеренно (не народу) в самый важный и ответственный момент, в этот час икс, что позволило всему тому, что пришло после них, развиваться. Огонь и воду прошли, а вот медные трубы их повалили. В сон сладкий отправили. В тот самый ответственный момент, в час икс. Плюс на минус поменялся, что ли?

«...Никогда, никогда, никогда

Англичанин не будет рабом!» – так пели английские матросы в «Гамбринусе» А. И. Куприна.

А что же мы, русские? Или так привлекает мировая известность? Но вот М. Шолохов – тот так и не поклонился, принимая Нобелевскую, шведскому королю. Будь он хоть Густав Адольф Шестой, со всеми его этикетами. Подозреваю, что накажи Шолохова за то отказом – он не очень печалился бы. Под Вёшинской ждал уже его охотничий обоз с горилкой и жареная дрофа. «Мы – казаки, мы ни перед кем не кланяемся», – скажет позже. Сталинскую – отдал в 41-м в фонд обороны. Ленинскую – на восстановление школы в родной станице...

...Жаль, что рябинку в селе Овсянка, посаженую в палисаде библиотеки В. Астафьевым и Б. Ельциным, «народ» сломал. По недомыслию что ли, по косности своей и неаккуратности. По иной ли какой причине... Подломил «рябинку Ельцина». Народ, что ли, такой варварский? Даже и песня такая есть, правда, о берёзе: «Я пойду, пойду, погуляю. Белую берёзу заламаю». Или «Ельцина березу

заломая...» Всё одно. Варвары. Недолголюбивал свой народец и Виктор Петрович, порой ой как недолголюбивал. И Ельцин недолголюбивал. Не в том ли причина? Или месть это была за «смену полюсов в самый критический момент» правд и полуправд, бог весть... Не понял народ, недопонял, что ли, чего-то. Важного, какой-то сокровенной мысли писателя? И это возможно. Или мести этому своему «народу».

И вот, вспоминая М. А. Шолохова с его «Казак не кланяется», думаю я, что «Последний поклон» Виктора Петровича – так и не состоялся. Или состоялся, но не в сторону бабушки и не в сторону народа. Так для кого же он так живо, трепетно и талантливо работал тогда, за кого воевал, и за какие идеи его контузило...

Трудная, почти святая жизнь его была бы немногим под силу. Да и не нам судить. Святые говорят: «Конец – жизни венец». Или ещё: «Кто всю надежду возлагает на мир сей, тот слеп» (Преп. Авва Исаия, 59, 71)...

«Земля пухом» – грех говорить. Царствия Небесного тебе, великий, но не негибаемый наш Виктор Петрович...

ВРЕМЯ «Ч»

Свежим летним днем шел тропинкой на крутую гору кустарниками орешника и молодых берез. Из орешника – лещуги лучшее удилище: легкое, гибкое, стройное. На вершине горы чувствовался порывистый ветер, ласкающий. Трепетали листья, звенели насекомые в траве. Тихо и спокойно окрест.

Шагая тропинкой, я прицеплял леску к удилищу. На пологих куртинках блестела трава, высокая и такая густая, что хотелось лечь где-нибудь в тени и лежать, ни о чем не думать. Глядеть на небо с высокими белыми облаками. Помню по детству неповторимое впечатление: когда долго лежишь, глядя в небо, кажется, что возносишься... Закину удочку и лягу навзничь.

Клева не было. Воткнул удилище в сухую корягу ольхи, улегся в тени и задремал, несколько не жалея, что рыбалка не удалась, день потерян. Время – не убито. Оно моё. Редко бываешь счастлив несмотря ни на что. Вдруг совсем рядом мужской сердитый голос заставил вскочить. Поднявшись, привыкая глазами полными синевы и солнца к матушке-земле, стал смотреть, как маленький старичок потешно перебежал по дну овражка в сухой пойме: то жалостливо манил к себе кого-то, то нещадно ругал, материл.

На полянке в густой траве разглядел за его спиной хорошую, сытую козу пестрой в желтизну масти. В нынешние тяжелые времена, когда в деревне прокормиться можно лишь от трудов праведных, а держать коров уже нет сил, – старики вспомнили про коз. Выпасали по два раза в день, и пасли сами.

– Римма, Римма, – звал старик, – Риммочка, милочка... Хать твою, чертовка... Ну, поди сюда, ну поди... ко мне, разумница, кормилица... Забуддыга! Зараза! Зарежу и сожру!

Коза, не спуская со старика внимательного умного взгляда, жевала, пошевеливая бородашкой, уписывала траву, но стоило двинуться старику – и в одно мгновение кинулась она на дно оврага с водой. Старик тяжело дышал – видно, долго искал сорвавшуюся с веревки бестию-козу. Размахнувшись широко, дед метнул палку, как при игре в городки. Римма прыснула вдоль ручья, как очумела, кинулась в кусты и без оглядки – к реке.

Недолго думая, я выломал из кустарника длинный прут, и мы оба двинулись на козу. Дед тяжело дышал, еле-еле тащил ноги по густой траве, – Риммочка измотала его силы. Наконец он тяжело опустился на кочку, снял картуз и вытер рукавом рубахи пот с лица.

– Сынок, на-ка палку, палкой ее, суку, падлу, коровенку ельцинскую...

Продравшись к мокрому и низкому берегу реки, «недокорова» остановилась, как бы размышляя. Увидев меня, метнулась к острову, густо поросшему осокой. Вода была неглубокая, родниковая – и ледяная. Чтобы добраться до островка, надо было снять обувь. Я снял кроссовки и, утопая до колен в грязной жиже, немея от холода, полез за Риммой.

Подошел дед, опершись на палку и тяжело дыша, вновь начал костерить козу.

Между тем я напористо, но без злости пробирался к островку, осторожно наступая на кочки... Коза оглянулась, дерзко шарахнулась на меня и в два прыжка мигом очутилась на другой стороне речонки.

– Сразу не подходи, сынок, ты этак, сызбоку... Похитрей... Ну, сука, это демон, не коза! Это не коза, а бес! Ты со своим, она – со своим. Все жилы она с меня вытянула. Бросить бы её, да внуков каждый год возят. А коровы где? Ни одной. Который год уже вся округа без коров. У двоих на три деревни, да и то к ним записываться надо, така очередь. Мне – тьфу это молоко: детишек жалко... – садясь там, где стоял и тоже снимая сапоги, исповедовался дед. – Курица – не птица, прапорщик – не офицер... Нет скотины – и коза не скотина... Смеёшься, а я, вот те крест, иной раз думаю: хоть бы пропала, или утащили её, или, прости меня господи, сдохла, мать её, суку! Какой тебе смех...

На той стороне, куда я выбрался вслед за зверюгой, стоял особняк какого-то дельца из «новых». Высокий со шпилем дом с двуглавым орлом на фасаде был огорожен непроницаемым забором высотой метров в шесть. И только ворота были сетчатые, временные. Сам делец, оплывший салом, ходил взад и вперед вдоль забора снаружи своей вотчины походкой тюленя. Время от времени он кидал палку бультерьеру, дразня и разыгрывая его.

Бультерьер, крупный, напористый, с желтыми подпалинами на черной мощной груди и скулах, играл без азарта, словно одолжение делал. Это не нравилось хозяину, и, едва появилась коза на его берегу, он кинул в неё палку: «Ату, Ричард, взять! Чужие!»

То, что случилось в следующее мгновение, не забыть до конца дней. Собака кинулась... Коза и вцепившийся ей в горло Ричард рухнули один на другого. Повиснув крепкими кривыми лапами и волочась по траве, пес рычал, а коза таскала его из последних сил, упираясь тонкими копытами в сырую землю, падая на колени и пытаясь подняться. Мы никак не могли добежать до забора по пересеченной местности. Ричард все теснее смыкал зубы на козьем горле... Коза не вставала уже на колени, Ричард волок её как позорное и бессмысленное на этой земле стерво. Колени передних ног Риммы подломились. Она выпадала из зубов пса – он то ли устал, то ли играл... Когда мы с «дельцом» рискнули растащить их, было поздно.

Яркие труссы из американского флага на владельце имения стали темны козьей кровью.

– Нож неси, нож неси, Лера! – кричал он кому-то, верно, жене. – Зубы разжимать! – кричал он молодой, в стрингах, бабёнке, но та играла воланчиком о забор, и единственно что сделала, перестала играть и подняла воланчик.

Делец дергал собаку, как тушу, за задние лапы, и весь колыхался от усилия, как грелка с водой. Наконец розняли. Я сел отдышаться, а делец поспешил с собакой к воротам. И вовремя: подоспел дед с вывернутой сухой корчагой... Дед не плакал, а побледнел и молча шёл с сухой орясиной на американские трусы и ракетку. Делец метнулся на свой участок. Задвинул электроприводом ворота. Не успели ни дед, ни я... За воротами владелец с породистым барбосом хрипло отдыхали. Убежав в сарай и вернувшись с расчехленным ружьём Лера вдруг начала истерически смеяться. Она угрожала ружьём за возможное вторжение в пределы своей вотчины – и имела на то полное право. Я встал и шагнул к воротам.

– Только сунься, – заорал владелец, меняясь в лице.

Крик его сорвался на шёпот, рожа покраснела, второй подбородок трясся...

– Только сунься, перестреляю вас, как бешеных собак!

Дед плакал и глядел в небо, будто молился.

...Вытаскивая и распутывая свою удочку, я по злобе сломал ее. Дед все еще возился на том берегу с козой.

– Римма, Риммочка... Встань, матушка... Ой, встань-поднимись, помрёт старуха от горя... Что же я старухе скажу? Не усмотрел, не уберег я тебя...

«Как по покойнику, – пришло мне в голову. – Чего уж он так...»

– ...И так будет со всяким, поняли, со всяким, кто приблизится! У меня – как в Америке. Я работал в Америке в полиции! Я законы знаю.

– Заткнись, – сказал я ему издалека. – Ни ружья, ни собаки не помогут. Не психуй.

– Мы рулим, это наше время! За грибами и к реке теперь – по нашему разрешению. Только. Застрелю – и буду прав. Застрелю, как бешеных собак...

Лера хохотала в истерике.

– Время «Ч», – сказал я.

– Что? – завопил он. – Ты мне угрожаешь?!

Я напялил кроссовки и, сматывая леску, побрел своей дорогой. Опасные подселяются соседи к деревне. Подселились уже...

– Время «Че-е», делюга! Грузите апельсины бочками.

Он заметался за решёткой ворот, как в клетке, верно, искал, чем метнуть в меня... И не находил.

Дед пытался приподнять подошную козу.

Два выстрела вверх и истошный крик: «Не подходи-и!!!»

«Зачем этот цирк, – всё думалось мне... – Зачем, ведь всё уже ясно... В России живём, не в Америке...»

ФРЕСКИ

* * *

«Пример отношения к своим людям “власти на местах”. С криминальным душком торговля на Черкизовском рынке в Москве закрыта. Сотням людей, в основном – китайцам, из тех, что торговали без виз, без разрешений на работу и медкарт, – предложено убыть на родину. Товар, контрабандный и опасный для здоровья, арестован. И вот тотчас же выезжает китайский посол вести переговоры на самом высоком уровне – с президентом России. Как это показательно в сравнении с трагедией пропавшего сухогруза “Арктик-Си” с пятнадцатью российскими моряками на борту, который два месяца числился бесследно пропавшим вместе с моряками, и при этом никому не был интересен, пока не забили тревогу близкие и родные пропавших без вести... эти семьи русских моряков. Результаты несопоставимы. И какое различное внимание “к своим” с той и с другой стороны.

Следом за тем – трагедия на Саяно-Шушенской ГЭС, пятьдесят восемь погибших. Тот же результат. Да что там – чернобыльцам, единицам из тех, которым удалось выжить, едва удалось уцелеть, защищая своими жизнями Союз, отказали в доплатах. И примеров по России – не счесть. Кто же там, вверху, над нами всеми? Неужели манекены, неужели бездушные камни? Кто они? – спрашивает меня отец, бывший моряк. Почему-то спрашивает именно меня...»

Эта запись сделана давно, в энное время. Многие помнят, во сколько недель, какой организацией побеждали в Китае неожиданно обнаруженный новый для медицины вирус – ковид-19. А вот в сравнении с теми же китайцами – отношение к нашему народу, и не где-нибудь (что там говорить о Вятской или даже Владимирской областях), а в столице.

Итак, Москва, апрель, 2019 год, апреля – 24 число.

Как мы знаем, у нас в столице система электронных пропусков разрабатывалась с осени 2018 года, когда никакой пандемии не было и в помине. Об этом много писали в прессе. Сумма контракта – 11,99 млрд руб. Теперь электронные пропуска и средства слежения есть (правда, едва ли не все камеры слежения в Московском метро на поверку оказались муляжами, но деньги были «освоены»). А вот масок и средств защиты – даже для медперсонала – нет. А если есть – то ничтожно мало. Врачи жалуются: «даже пипеток не хватает»...

С 15 апреля введены электронные пропуска в Москве, впервые – и в тот же день давка в метро невообразимая. А ведь инфекция не предполагает приближения друг к другу даже на расстояние в полтора метра в маске! Штраф 5 тыс. рублей. Но – кого из чиновников наказали (хотя бы как простолюдина – штрафом в 5 тыс. руб.) за это незапланированное скопище в метро? Примеров наказания и ответственности не слышно...

А ведь одна эта нелепица, угрожающая миллионам, продлила режим домашнего ареста, паралича экономической деятельности только Москвы минимум на месяц (сколько народа инфицировали, перезаражали друг друга в узких переходах метро – стояли часами). Миллиарды, десятки миллиардов убытков... Что это, тестирование на одурение в нашем обществе?

Между тем, вот пример как расправляются с «маленьким человеком». Да почему маленьким, просто – с человеком! Сын профессора (заболела вся семья и всех взяли на контроль) – пошёл к другу через улицу, чтобы узнать задание, уроки.

Остановили, пробрили по базе. Штраф, не взирая на то, что в маске и в перчатках, – 8 тыс. руб. Мой друг профессор, и так небогатый, в отчаянии...

«В каком же Глупове мы живём?» Никакой Салтыков-Щедрин не поправит дело. А ведь он был градоначальник – один из лучших, талантливейших...

Пишу и знаю, что вряд ли опубликую. Ведь ещё в 1953 году сатирик Юрий Благов точно отметил: «Мы – за смех, / но нам нужны / подорожее Щедрины / и такие Гоголи, / чтобы нас не трогали». Но как это связать с выступлением того же С. И. Гусева – аж в 1927 году он писал: «К сожалению, у нас ещё нет наших советских Гоголей и Салтыковых» («Пределы критики». «Известия», 5 мая 1927 года).

Как связать? Впрямую, даже фразеологически. Вот только воз «...и ныне там».

* * *

Во Спасение в дар храму Гребневской Божьей матери в поселке Клязьма планировали передать икону Троицы Рублёва. Дарителю трудно расставаться в столь тяжёлые времена с иконой. Но она нужнее храму. Что за вирус, мир в судорогах... Виделся с дарителем накануне. Шёл и думал: как это непонятно, страшно; бесконечна жизнь души человеческой!

...Это ощущение жизни души, тишайшей, сокровенной, таинственно и тонко передает икона «Троица» Андрея Рублева. Она погружает душу верующего с первого же углубленного взгляда на икону – в такую тишину и покой, в такую любовь и гармонию, что забываешь о течении времени... Взгляд на нее подобен воспоминанию души о первом причастии. Неслучайно именно эта икона так широко живет в православии, в храмах (да и не только в православных, а и в католических)... Казалось бы, противоречиво, странно, необоснованно. Но и здесь сбываются слова Тертуллиана о том, что душа человеческая по природе своей – христианка. Значит, и католик не может не чувствовать «свое поле» (пусть и отдаленно). Подлинная жизнь духа – именно тишина. В храмах, особенно после литургии, когда так тихо и догорают свечи, необыкновенно остро чувствуешь: тут Бог. И уже не пугает бесконечность этой тишины...

И вот пришёл к храму. Пришёл и он, даритель. Двое, больше никого, ни мирян, ни настоятеля. Возле храма доска объявлений – новый лист, недавно прикреплённый. На нём крупным шрифтом набрано: «За посещение храма священнослужителем – штраф 150 тыс. руб. За посещение храма юрлицом – 70 тыс. руб. За посещение храма мирянами (физлицами) – штраф 15 тыс. руб.»

Что это? Недоумение и растерянность.

* * *

Без пропусков ходить по улицам запрещено. Шёл посёлком. Вдруг увязалась за мной машина Росгвардии. Пошёл быстрее, они за мной. Побежал. Они догнали на машине и выскочили из неё: «Есть пропуск?» Запнулся, упал на газон, повредил ногу. На цветной лужайке так внезапно, при травме и боли, в несчастье, в одно мгновение открылось: «Так вот он каков, этот цветной радостный мир!» – и вдруг осенило ужасом, повеяло таким ледяным холодом, да так и запомнился навсегда этот миг и это чувство: «Вот он каков, этот мир, он черно-белый!» И это чувство так неожиданно и трагично ударило... Подобно тому удару, как, редко и страшно,

в трагические минуты ранений, когда ты уже вне тела... Одно мгновение, один миг – и ты уже не тот, что был прежде. Нечто подобное бывает и при внезапном очень сильном впечатлении – испуге, страхе, страсти: душа как бы отлетает на миг, покидает брненное тело...

И подумалось вдруг: «...Так и за всем нашим народом погнались. Знать, есть причина...»

* * *

Душа не чувствует прочность жилища в теле, легко и скоро может оставить его... Каждый знает это, испытывал не единожды.

Впервые я испытал это чувство, нечто подобное ему, в детстве, лет в семь-восемь, прыгнув с огромной высоты в песок глубокой траншеи. Я хотел оказаться героем перед девочками. Но когда прыгнул, уже на лету так испугался глубины траншеи и высоты и долготы полета, что обмер и как бы увидел себя со стороны. Впоследствии я не раз вспоминал это, когда случалось нечто подобное. «Ушла душа в пятки» – говорит пословица. На деле же и того круче: даже и в пятках не остается души! И я летел, ужасаясь высоте и неотвратимости, невозвратности совершенного мною поступка. Сердце билось, как первомайский флажок в детстве на параде, трепетало. И душа как будто покинула вдруг меня, словно другая субстанция, вечная, вышла вмиг из брненного моего физического тела. От страха... Это иная, нетелесная субстанция, и ее невозможно погубить механической элементарной болью, ужасом, сразить смертью, она, душа, уходит из брненного тела, как вода сквозь пальцы...

...И тогда жизнь человеческая тотчас обретает совсем иной, не элементарный оттенок. И ужасается, обрадованная обетованным бессмертием. «Все, все, что гибелью грозит, / Для сердца брнного таит / Неизъянимы наслажденья... / Бессмертья, может быть, залог. / И счастлив тот, кто средь волненья / Их обретать и видеть мог...» Поэт, не единожды стоявший под дулом мощного дуэльного пистолета, пробивающего навывлет грудь дуэлянтов, – только он, Пушкин, мог так точно и верно сказать... 1830 год. «Пир во время чумы»... Таковы они, кульбиты времени и обстоятельств.

Но счастливы ли мы сегодня «средь волненья»? Нечто подобное гибельному восторгу пронзило сегодня сердце едва ли не каждого. Заразили не вирусом – заразили ужасом гибельным. Зачем? Или незапуганный народ не закуёшь в кандалы и не прикуёшь каждого к своему лемеху, не вручишь, безотказному от ужаса, своё орало?

«Согните выи под железное ярмо закона!»

* * *

...Это было в Ташкенте, в гостинице «Дустлик», что означает в переводе с узбекского «Дружба». В те советские еще времена – год 86-87-й – я брал номер и вдруг узнал, столкнулся лицом к лицу с циркачами – воздушными акробатами с вчерашнего представления. Они были невысоки ростом, смугло загорелы. Это была влюбленная пара, ошибки быть не могло: именно на их представлении был я вчера. Я сидел в партере. Невозможно было представить того, что вытворяли они, эти акробаты, в воздухе. Это был риск. Полет. И все без страховки. И вот теперь я встретил и узнал их тотчас в холле гостиницы.

Взять номер в этой гостинице было непросто, и не только потому, что она считалась центральной и благоустроенной, но и потому, что помещалась в ста метрах от центрального Алайского рынка, и торгаши оккупировали каждый номер, каждый метр. И вот по этажам этой гостиницы ходила влюбленная пара, выбирая себе вид из окна и кровать в номере «с видом». Они заглядывали едва ли не во всякий номер на всех этажах. Искали. Иногда смеялись, шутили, подтрунивали над чем-то – не то над порядком, не то над уборкой, обстановкой, убогой, даже и не то чтобы провинциальной, а южной, восточной (кто коротал время в таких гостиницах советских времен – вполне меня поймёт). А больше – над кроватями в номерах.

Ожидая своего поселения, я вынужден был сопровождать их и администратора. «Они, вероятно, съехали недавно, но забыли что-то, вернулись и теперь ищут», – думал я с раздражением. И только исподволь понял, что это просто влюбленная пара и что они так придирчиво выбирают романтический антураж для своего пребывания, для большой своей любви.

Ни один номер решительно не годился: то кровать сломана или хромая. То вид угрюм – на какую-нибудь лагманную с разрешенным потреблением спиртного или на широкую автостраду. Им не важен был стол, они могли поесть и с ножа, без всяких сервизов, а вот кровать и вид из окна – это да! Они отыскивали номер, как голодный отыскивает кусок мяса.

...Лишь потом, много лет спустя, я понял, что жили они одним лишь днем, мгновением до своего трагического выступления, мгновением прекрасной своей любви под небом, под этим вечным небом. Дивным, особенным, восточным, безграничным. И каждая минута могла для них замереть, оборваться под куполом, внезапно, трагически.

Они выбрали самый дорогой номер: за стеной администрации, вечно в прохладной тени, на втором этаже, над беседкой с повивкой плюща и дикого винограда. Всякий раз, когда они входили в номер или выходили – они точно прощались друг с другом: глазами, руками, губами. И никогда, быть может, я и сам не ощущал так остро на их примере непоправимую эту «экзистенцию» – и свою, и этого мира.

Они были красивы, молоды, ловки, гибки, удачливы, знамениты: афиши с самыми их невероятными трюками пестрели на фасадах и заборах ослепительно знойного Ташкента... Где они теперь, что с ними... Если уцелели под куполом цирка, то уцелели ли в этом общем падении космического корабля под названием «СССР – Россия»...

И вот теперь, вспоминая временами ту пару, я думаю невольно: «А что такое и сама жизнь, как не затяжной прыжок из-под купола?» Думаю ещё, что верно жили они, правильно. Что так и надо. Это и есть – счастье. И есть в этой жизни их какой-то подвиг. Величайший! Движение Духа. К ним не относится «не искушай Господа своего». Это – как пить-тянуть из бокала тончайшего стекла лучшее в мире, редчайшее вино, даже под угрозой, что оно отравлено, и всё равно не боясь...

Странно, что приходят эти воспоминания именно в раннюю весну 2020 года. Или и я, и все мы – тоже теперь под куполом, на тончайшей веревке теперь... И без страховки. И мир содрогается, думая о будущем. С ужасом ищет вакцины...

* * *

Сегодня, бродя по «Московским изогнутым улицам», вспоминал трехмесячное своё пребывание в Германии, ту ностальгию, которая взялась за меня – взялась мучить моё сердце там, в Берлине, едва ли не через неделю... Так по чему и по кому я тосковал? И вот они, эти улицы Москвы. Они пусты у нас в пандемию так, как пусты они в дневную пору в любом городе Германии. Днём там все на работе. Всегда. Пусто.

Бродя по Берлину тогда, в ельцинское «святое время», среди сияющих и благополучных «хаусов» и скучая по родине, вспомнил неизвестно откуда пришедшую поговорку: «Любит нищий свое хламовище».

А и в самом деле, чего не хватало мне там, у немцев? Сыт, обут-одет. Ходил я по вымытому с шампунем асфальту. Отчего же я не перековался в западники? Столько красивых городов объехал, да ещё в ту-то пору... «Все кузни обошёл, не кован воротился».

Аккуратность и чистота там повсюду такие, что любая из стран позавидует. А какие музеи! Порой целое зданье строится под одну-единственную картину какого-нибудь модерниста. А театры! А зоосад – «цоо»! В фильме «Освобождение» этим берлинским цоо так трогательно восхищался молодой русский танкист в 45-м – и заплатил жизнью за восхищение павлинами и бегемотом. Выглянул из люка танка и был безжалостно расстрелян. Вот и я тогда, в 91-м, был так же молод, и так же с восхищением вышел посмотреть: что там, за бугром, приподнял «железный занавес». Впервые. Восхитился – и был едва ли не убит... Скульптурные группы-памятники, университеты, каштаты. И все-то в высшей мере отменно – а вот что-то вечно растревожено было сердце русской тоской. Тоской по родине. Занот сердце, ищет, о чем позаботиться, о ком – не о ком... И – ничто не мило. Или это только у нас так, у русских? Русская черта – потребность заботы о ком-то? Ну, придет канадец в Америку, тоскует он по Канаде, «ностальгирует»? Или китаец? Да? Или нет? Ведь нет же. Он отстраивает там, в Америке, целые кварталы-стрит, «чайн-тауны». Быстро продвигает «продукт» и продвигается сам. Отдельно, замкнуто. Отдельным скопом. Оттого и по численности там, в бескорневой Америке, русских – меньше всего. На жизненном пространстве, на всех этих «выселках лазоревого мира космополитов», перекасти-поле... – «наших» меньше любой из наций, и ничего не попишешь. Черта характера, ментальность. А и те, что есть из русских, – всё больше из Одессы да с Украины...

Через Александр-плац шёл я тогда и стал вспоминать русские поговорки, в которых упоминается вот об этом остром чувстве тоски по родине. Те поговорки, которые помнил навскидку. И удивился, сколько вдруг пришло на память! «Мила та сторона (родина), где пупок резан», «О том кукушка и кукует, что своего гнезда нет», «На чужой стороншке рад своей воронушке», «Свой дым глаз не ест», «Чужбина против шерсти гладит», «Сторона не дальняя, а печальна», «Русский – ни снегом, ни калачом не шутит»... А напротив: «Дальше солнца не угонят, носом в землю не воткнут», «Где спать лег, там и родина». Противоположных мало. «И как неубедительно, впрочем, – думалось мне тогда, изнывающему по России уже с полгода. – Как если бы заранее Бог определил мне, грешному, пределы мои. А определил Он их в бедной, горькой России. А я вот вдруг взял и умыкнул в чистую и сытенную Германию... Глупое бегство...» – так думал я

тогда. Печалование о родине, о земле своей, о семье, о родне... Какое это всё же исконно-посконное русское чувство.

Пословицы «за Россию» казались мне выстраданными и прямо-таки обо мне. И еще думалось: «И так ясно было то, что русская земля и впрямь – под покровом Богородицы. А если меня так тянет туда, в эту голодную, нищую (был 92-й год), преданную буржуинами, кровью праведников и святых залитую, “кровью умытую” страну...» Помню я и сейчас, что ностальгия эта была болезнью, которую не унять ни дюжиной сортов пива, ни комфортом – ничем...

Как я теперь понимаю, идя по апрельской, поражённой эпидемией Москве, – тянуло не случайно. Тянуло, словно в храм Божий. А и впрямь, вся Русь стоит на живом антиминсе. Я заметил в неметчине: эмиграцию легко переносили только те из нас, которые лишены были какой-то тайны. Тайны познания невыразимого мира Божьего, не искали Его. И заметил я ещё: не было в них, в этих эмигрантах «третьей волны», какого-то органа. От природы, от рождения – органа, не всем назначенного. Но явного и определенного, сущего и насущного для меня, как, скажем, глаза или тимус, железа вилочковая. И внутри они обычно были проще и грубее, эти эмигранты. И устраивали жизнь поспешно, с дальним прицелом. И устремлены были на идею-«фикшн»... Бокал немецкого пива восхищал их, как меня – яркое солнце поутру на Оке.

...«На чужой сторонushке рад своей воронushке» – как это, пожалуй, непонятно им было, даже смешно, скажи я этак вслух. Они рады были собирать огрызки, брошенные западными «звездами», рады были сотворить из этих огрызков свой уголок фаворитов вроде угла «фредди-меркури», «элвиса» или «чиконе»... – нечто наподобие Ленинского уголка в немецкой первоклассной гостинице (так: татуированные голые задницы, крашенные губы, похожие на... или, вернее, не похожие ни на что, привлекают этих малых «избранных» за границей)...

...Я вспомнил сегодня в рязанской деревне эти раскрашенные физиономии русских эмигрантов с цветными петушиными гребнями. Вспомнил выражение их глаз, поведение, и понял, что было в этой моей тоске в 92-м, – что-то определенно похожее и на покаяние, и на исповедь одновременно. Нет, я не смог бы уехать совсем, как нельзя заставить причастника, честно подготовившегося, припавшего с благоговением к чаше-потиру, – нельзя заставить не принять причастие, если он возжелал и духовно готов... Хоть святые говорят, что готовы мы, как не готовься – не бываем. Все недостойны.

Вот и я – я сам причастник бедной, оскверненной бесчинными бесами, пусть и не святой, но – моей родины... Родины, по которой прошли, перешагивая и наступая на трупы расстрелянных ими – и немцы, и японцы, и французы, и китайские, и латышские стрелки. И хасидские, и литовские комиссары... Не святой. Но другой Родины не будет у меня, кроме той, по которой топчутся сегодня и их потомки, так охотно и прилюдно сжегшие свои партбилеты, куражась и фотографируясь при этом (а до сожжения – преподававшие научный коммунизм и сделавшие карьеру на изъятии своей преданности «рулевого»). Отрекшиеся – и этим обманувшие вновь и народ, и эту землю, устланную мощами праведников и убиенных ради той идеи, которая сияла величественно, а теперь вместо великой мечты предложила сытое и «радостное брюхо»...

Иду апрелем по Москве, по Отрадному. Моё рабочее место – противочумный центр. Все в «намордниках»-респираторах навстречу... Меня узнают. Уже выстрои-

лись в очередь с огромными, в фольге с красными крестами – холодильниками переносными, а в них пробы, заборы крови, мокроты... Об этой Москве я так тосковал тридцать лет назад? О той, где с откатами кладут вместо асфальта плитку за миллиарды при общей нищете? Где воруют генералы и списывают браслеты для слежения за заключенными – тоже на миллиарды... Да мало ли что... По ней, по этой ли Москве я тосковал до бессонницы и зубной боли?

О ней! И тоска эта навсегда...

* * *

Как странно... как легко, один за другим, уходят люди, те, которых хорошо знал. Скольких уже нет, они ушли в мир иной... Драгоценные люди. И с каждым из них уходит как бы частица моего собственного существа. Они словно уносят по частице меня самого. И сколько теперь осталось меня самого в этом мире? А сколько было связано с каждым из них, из ушедших...

Вот недавно ушел Николай. Помню, как однажды в августе, ночью лунной, бабушка послала нас с Николаем, моим одноклассником, набрать «медовок» – яблоч для компота, дала два пустых ведра. Помню, как бросали мы их, каждое яблоко отыскивая ощупью, под луной, метко – бросали в гремящее ведро. Яблоки были так зрелы, что если смотреть сквозь некоторые на луну – семечки видны. Эти опадыши, налитые желтой спелостью – в мед цветом, светились в траве, как восковые, словно сами по себе фосфоресцировали изнутри. Проходя через овраг с полными ведрами, увидели мы топящуюся баню и ярко в полной тьме светящееся небольшое, с ладонь, окошко. Прильнули. Там мылись, ополаскиваясь из тазов, наши сверстницы – Люда и Варя (обеих уж нет на этом свете). Тогда было нам лет по двенадцать... Боже мой, как затрепетало сердце от тайного созерцания их наивной наготы, их девичьих щелочек, едва тронутых пушком, с красными отблесками тел в свете и полутьме керосиновой лампы под пузырем... Их целомудренные, едва наметившиеся груди трепетали.

...А вкус тех собранных яблок был так неестественно сочен и сладок – так и растекался по губам и подбородку. Скулы сводило от кислой сладости. Хотелось откусывать и откусывать. Прямо с семечками, с сердцевинкой. Мы откусывали от яблок и посматривали в баньку... Так и запомнило сердце: черный овраг с запахом топящейся летом печи, ведра яблок, девчонки, так и не увидевшие нас, страшные черные дубы под огромной, бездонной, тёмной пропастью неба – и великой, восхитительной, сплошь в белых пятнах, луной.

...И все никак не хочет примириться сердце с тем, что жизнь так безжалостна, а смерть для каждого – неизбежность... И всё чувствует сердце – всё мимолётно... Но не для ямы земляной всё пережито, не для червей кишашщих... Не для того столько пережито, выстрадано, принято и усвоено в жизни этой – чтобы всё отдать в кору земную. Есть какая-то мудрость, тайна, которая не должна и не может быть открыта нам при жизни!

И сколько радостных встреч впереди...

* * *

– Знаешь, что такое свобода и демократия? Это когда скупили или закрыли завод, послали тебя в ... или на ... А ты можешь идти куда хочешь: сво-о-бо-о-ден!

- Я свободен, я сам найду другую работу.
- А тогда объявят вирус, или запустят вирус – и платок на роток, то бишь – респиратор, и руки в перчатки. Человек в чехле.
- Да, но что при всем при этом кушать?
- А кушать попросишь – отругают, чипируют, – и опять на цепь, в ошейник... На цепь. Милости просим...

* * *

Владивосток. Океан.

Удивительное свойство человека: с возрастом, как и с большим несчастьем, всё острее хочется одиночества. Хочется быть одному. С возрастом – всё больше. К морю. В горы или в лес к костру. И чтоб никого – ни единой души рядом не было. И когда это возможно, достижимо: обзриваешь горизонты духа. Над обрывом к океану. Как теперь, когда я веду эту запись.

Сверху видишь бытие, слышишь самые «мысли» волн... Не шум прибрежный, но созерцание, ничем и никем не смущаемое. И это – созерцание собственной души под треск в костре белых поленьев, снедаемых пламенем. В свете костра, раздвигающем темень и тленье леса, – мятущиеся тени, и чувствуешь себя уже не так безродно. Не безотраднo и непоправимо несчастным. И в этой скрытой боли – величайшая отрада, как ни странно!

...Сам Бог настраивает человека на один тон – одиночества, тон искренний: каждый из нас с возрастом все более и более сужает круг общения. Добавляется невзгод и испытаний... «В мире скорбны будете... Но мужайтесь, Я победил мир». И в конце – каждый остаётся один, идёт по своей лыжне, сходит по своему единственному склону.

Очень остро чувствовали это святые схимники. Исихасты. Они не протестовали и не упирались, а шли навстречу великой и неисчерпаемой Воле, отрывались от этого мира. А чтобы не было больно отрываться уже насовсем, безвозвратно надевали куколь. Бог старит нас, отнимает понемногу страсти и желания.

...Так стоял, как очарованный, один. И думал я – один над набережной над океаном в городе Владивостоке... Спустился к воде, к волнам и окунул руку. Мокрая твердая галька обозначила грань океана: всё, дальше России нет. Вся за мной, вся за моей спиной.

Корабль-ресторан едва двигался там, внизу, под ночным обрывом, к океану – под высоким, в полкилометра, отрогом побережья. В светлых столпах желтого и белого света над водой, параллельных и накрест лежащих, конусом клиньях света – друг возле друга – шел корабль с музыкой. В великом хаосе белых и желтых огней, красных отсветов, блистания бакенов и колючих мачт, – точно вот-вот отвалил он от берега. Куда, зачем он идёт?.. И подумалось: «А за тем же, за чем, в сущности, и я здесь: укрыться от ненастья и одиночества. Найти пристань. Только, быть может, иным способом. Он вывозит людей, принужденно веселящихся, – “вывозит” их от самих себя. Они спасаются вряд ли более оригинальным способом – явно деланным, напускным и наигранным принужденным весельем... Зная, что всё это минутное, этим не спастись и не насытиться. С рестораном, выпивкой, плясками и криком». Скоро я вновь остался наедине с тишиной. Под звездами и над океаном.

И как же светло стало на сердце в этой тьме между небом и океаном!

* * *

Эти темные, страшные мартовские рассветы над Москвой... Что-то в них необычайное, роковое, чужое и страшное. В этих рассветах, когда темно и глубоко синее небо там, вверху, вплоть до самого Престола, а здесь – мельгешат, шныряют огнями машины в утреннем городе, – всё кажется милостыней: и связи судеб, и людские отношения. Всё милость Божья... Если смотреть на мир, не забывая об этом, – то всё радость, всё становится мило: и любая мысль, и взгляд. Предлоги и предметики – не по пустякам, а значительны, да и сам мир уже не кажется ни случайным, ни обманным. Нужно только помнить, помнить себя и назначение своё... Электрички приходят пустые: вирус.

В небе – всё ещё неумолимо темно. И вот всё синее, и как-то совсем уже неуютно: жиже, строже и алей... Светает... Смотришь вверх, в эту вечную стужу, в эту недостижимую высь – и замерзает душа. Кажется, будто бы вот-вот, в это уже мгновенье – случится что-то трагическое, непоправимое. Наверное, именно про такие мгновения сказал Иисус ученикам: «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию» (Лука, гл. 10, ст. 18). Есть в словах Его какая-то неотразимая правда, правда сверхвидения, видения духов, живущих вокруг нас, невидимых нам, нашим плотским очам, а лишь святым.

И вдруг два полицейских рядом, диалог:

– Сегодня задерживаем и оформляем всех поголовно, кроме женщин с колясками. С каждого района приказ – не менее десяти протоколов. Если не набрали, работаем и после семнадцати ноль-ноль.

– Это что, на пятиминутке объявили?

– Да!

Что это, неужели и впрямь чипизация?

Но даже и такое грозное присутствие великой тайны и «молнией спадшего» не страшит, когда вспоминаешь о вечной жизни души.

Без добровольного согласия и отречения от Христа – нет греха и чипу.

Ещё один Великий Пост дал мне Создатель пережить. Стерпевший до конца – спасётся...

Про «ща»...

Выставка картин, галерея известных старых западных голландских художников в Севастополе, в белом музее над морем. Очень старая живопись, – и вот как удивительно и ясно, как заметно это: каждый персонаж обособлен. Не индивидуален, а именно – обособлен. У младенцев – лица взрослых, лица не детей, а мужиков. И от этого все, включая детей, кажутся одинокими, как звезда среди звезд. Странно, что мистически, на перспективу написаны эти картины. Тяжелые своей массивной позолотой рамки – они уже трескаются. Трещинами, паутиной их, сетью покрыт и толстый масляный, грубый, словно мясной, слой, и грунт под ним.

Такова же, верно, и плотяная участь, даже и участь душ человеческих – юдоль после этого земного их существования. Сеть трещин на лицах – паутиной порчи, и подлинны лица действительного давнего бытия – как за решёткой. Участь даже душевного, а не телесного изменения. И оттого – как бы «зашоренного» бытия. Жив только Дух. А подлинного, иного – в духе – не видно. И не миновать никому забвения. Не минешь.

Лишь «там», вне выставки картин, – свет и радость подлинной действительности. Непреходящей. Море и солнце. Ветер и простор... Вышел – и снова счастлив!

Мертвая телесность искусства – «искуса». Как это очевидно...

«Ища существованья смыслов,
Внутри себя Любовь ища,
Пойми, что счастье ведь не завтра...
А ща!»
Откуда это... Не помню.

* * *

Откуда эта мода в прошлом на дебелих младенцев? Микеланджело писал уже не само дебелие тело, но – страсти. Во многом и многих. Быть может, художникам хотелось видеть, воплотить в детское тело живущую и жаждущую плоть – страсти? Внешне отобразить? Картины о сытости, которой не было в то время (среди простолюдинов). Сытости, о которой мечталось. Картины-мечты. Найти ее, эту радость «сытого чрева», хотя бы вот – в картине. Тоже своего рода «модерн».

Глядя на эти картины фламандцев и весь антураж на них, кажется, что это одно полотно. Художники и в зрелости своей были вечно голодны... Если не в пище, то в неутолимых страстях. Или – это намек не на дебелие младенца, а на страстную и сытую «глину божью»?.. Глину, из которой все мы сотворены в день шестой. И какая тоска за этой дебелиестью, сытостью, какая острая тоска по чему-то высшему, горнему. По той доброте (худые да горькие), что ли, любви человеческой и сочувствию, которого так не хватает (и не хватало, надо полагать, и раньше, в средние века).

Не хватает что ли «материала» любви на всех у Господа? Но рано или поздно эта нехватка открывается.

Нет материала-то подлинного! Мясного – вполне достаточно, а вот духовного... Ходишь по залам и удивляешься: как были плотяны и тяжелы люди, таковы они и остались. И останутся еще надолго. Едва ли не каждый – до смерти. И как подлинное открытие был для меня вход в православный храм, Покровский собор, здесь же, на Большой Морской Севастополя. В храм, что напротив музея. Весь из белого инкерманского камня...

Какое величие бесстрастной русской иконы в полутьме! Какое наслаждение, оторвавшись от голландцев – прикоснуться, склониться перед тихой и милостивой русской иконой!

* * *

Москва спешащая, осенняя, яркая задыхается в пробке автомобильной. Старуха на улице в городе, нагибаясь, что-то отыскивает, поднимает в листвяной опади. Складывает и напихивает в матерчатую сумку. Присмотрелся: ягоды боярышника. Горстями сыпает в пухлую, красную, точно от крови, и тяжелую, будто картечью наполняемую, сумку – из оттуда порой нет-нет, да и – двумя руками ягоды в рот отправляет. Рот узкий, старушечий, сморщенный...

Мимо едут машины, дружно и яростно гудят при малейшей попытке ее перейти дорогу. «Глупая ты, бабка! – кричит на неё краснолицый малый из «лексуса». – Переход во-он там, видишь? Дуй туда, совершай забег в ширину.

Что ты в спринтерский забег, карга, устремляешься как молодуха...» И задвинул стекло автоматическим невидимым-неслышимым моторчиком. Пальчиком нажал и готово.

Бабка в растерянности. До конца парка, она верно знает это, до первого перебега – километра полтора, а здесь не пустят. «Москва бьёт с носка». А ещё она слезам не верит. Вот как. Слезам и то не верит.

Старуха – в обносках, «обтерхана», в рванье. Всеми забыта. В глазах – безнадежность и покорность судьбе. А рядом, через улицу – многоэтажное здание, с типажом – «под немцев», их архитектуры. То есть – выделана под те современные новостройки Европы, которые модны. Отзеркаливает небо, любую человеческую попытку помочь, улыбнуться, руку протянуть – отбивает железно, неумолимо. Кажется – отстреливает механически-неумолимо бронзоватым отсветом витрин и окон, как танк «тигр» отстреливал бы, только гильзы отлетают. Так мне кажется...

– Мне досталась молодуха лет под восемьдесят пять, – кричит сзади водила, да так, что старуха вздрагивает и пятится, потом он давит на гашетку и яростно подрезает кого-то.

Опять попался весельчак... Со всех сторон давят на сигналы.

...С блестящим бронзой стеклом окон, с изразцовой, «под Запад» же, отделкой толстых чугунных наличников... Москва-матушка. На запоре наличников ослепительно: «Банк Возрождение»... Ах вы, сукины дети, – радетели, «возродители», опустившие богатейшую страну, империю – СССР вот этими «Совкомбанками», «Растерзай-кабан» и «Забодай тебя комар» – банками, фьючерсами и закладными. С брокерскими продажами и перепродажами, с ваучерными аукционами, с залоговыми аукционами-игрищами притащившие ее к «кризису»... И в который уже раз притащили. И ходят старухи и старики, роются в помойках, плющат ногой и собирают пивные банки, подбедают боярышник, как птицы, остающиеся на зимовье в стране, в которой не выжить...

И вдруг стало понятно, совершенно ясно, что поднимет и опять поднимет скоро неведомая рука, да и потряхнет Россию. Снова и снова, потряхнет непременно по бездушию нашему и, быть может, грохнет крепче семнадцатого года. Не всё русским старухам собирать боярышник вдоль ослепительных фасадов чиновничьих контор, не всё нам терпеть, глядя как унижают наших матерей, сестер. Молиться да пукать с сухомятки «макдональдсов» да «кейф-си» – в импортные портки-джинсы «от китайца». Не всё лежать ничком от тоски в тусклой и выматывающей безработицы да «удалёнки» самоизоляции. Все мы давно самоудалились. Именно сами, до вируса ещё китайского или американского, задолго.

Что-то случится. Бездушье отрезвляет только беда.

Москва. Все еще относительно благополучна. Относительно прошлых бед...

* * *

Сатанизм центричен, и центр его – в сердцевинах городов, в самом скоплении людей. Сатана любит людей, любит их общества, любит города, афиши, футбол с сотнями фанатов футбола и т. д. Сатана полюбил общества людей еще со времен Адама и Евы – ведь и это было «общество», с ним, с сатаной согласившееся. Были втроем, когда Бог уже искал их, потеряв свои создания из виду – во грехе их.

вынужден был наказать всех соучастников греха (если только можно соотнести глагол «вынужден» с великим: «Господь наш и Бог наш»).

Именно поэтому Бог противодействует сатане, он отпускает духа святого на скопления, «где двое или трое собраны во имя Мое». Единственно (и это по необходимости, в противовес сатане) – Бог сам более всего силен именно в одиночестве (хоть он и троичен). Как это хорошо сказано: «Внутрь вас есть». Оттого и монах в келье один. И анахорет Иоанн Мосх, и Мария Египетская, и Авва Дорофей...

В одиночестве созидается душа, разворачивается в толпе.

Москва, городские центры, областные города, как видится – во множестве неисчислимом людей – ушла от Бога. В церквях, я заметил, поют «Символ Веры», не слушая ближнего своего, поют для себя.

И в то же время – нигде так не одинок человек, как в крупных городах, в Москве, Питере, Екатеринбурге. Одиночество в толпе – это не когда ты один. Это когда хочешь, чтобы услышали – и не слышат. Почему же не слышат? Сатана не дает. Вмешивается. Противоречит. Отталкивает. Ссорит, сталкивает, сравнивает, взрывает междоусобную брань и зависть. Разделяет и властвует. Спешит и кривляется. Показывает противоречивые фильмы, сталкивает фанатов. Тех, кто за «Навала» ветхозаветного и тех, кто против. И наших дней Наваля... Сталкивает молодёжь и опытных...

Одиночество, аскетизм, паче – исихасты-молитвенники – они в себе, в своём мире. Истинном. Божиим.

Вот почему и сам Христос так часто спешил в уединение. Даже от Апостолов.

* * *

Труд и творчество, тот интерес и целеустремленность, с которыми входит в эту жизнь новорожденный ребенок, несопоставимы по усилиям и напряжению ни с каким творчеством повзрослевшего, уже устоявшегося в этом мире. Несопоставим ни с каким искусством, ни с творчеством взрослой жизни.

Все, даже и независимые, или мнящие себя таковыми, творцы – ждут утешения в творчестве. Радости коротких вспышек озарения. Кто-то – признания, кто-то ищет забытья: уйти, остановить катящийся вниз камень Сизифа. Без призора... Ждать от жизни счастья вправе – только новорожденный, осваивающий мир вокруг себя ребенок... Он вправе надеяться. Легко жить. Вот так же и в творчестве. А что же получает взрослый творец за свои ожидания? Получает кровавый труд, затем – опыт разочарования, тяжесть камня Сизифа и редко – признание. Но тот труд, и кровавые раны, и синяки-шишки, с которыми мы начинаем жить, – не обещают ли они сам по себе и благодать, и прощение?

Эта боль жизни, когда больно жить, жить больно... Само по себе состояние боли – не суть ли Спасения? Терпи – и спасёшься! «Бессмертья, может быть, залог», – как точно сказал об этом Пушкин в «Пире во время чумы»...

* * *

Сын-подросток у святого источника, бьющего из-под глубокого угора. Овраг по Ярославской дороге – станция «Клязьма» и поселок вдоль одноименной реки. Крутизна к реке почти отвесная...

Шел вдоль реки, по-над этой крутизной. А внизу – хрустальной свежести источник, освещенный в честь иконы матери Божьей Гребневской. У источника сидит малыш лет девяти. Я сразу узнал сына. И так задумчиво сидел он, глядя на огнистые струи светлого родника, сидел долго. Припав к струе, он наполнил пятилитровую банку из святого источника, играл со струёй, рассматривал. И смотрел на него с высоты. Он наполнил банку, вторую, попил и присел.

О чем может так напряженно думать или мечтать малыш девяти лет? И вот – так остро, до боли остро почувствовал я, что все мы на этой земле изгнанники, и я, и он, и вон там вдаль – те, другие... И все мы с рождения чувствуем это так напряженно-остро, с такой тоской, что не выразить словами, и, значит, тоскуем об утерянном в прошлом ином бытии, лучшем, чистом... Бытии с кем? С Богом? И вот теперь до боли мы ощущаем свое сиротство и тоску по какой-то иной, истинной родине. Которая кажется невозвратимой, кажется существующей далеко, где-то в иных мирах, тех мирах, которые так отличны от этих, – и так несравнимы и несопоставимы, что представляются эти земные места – противоположными, даже и отдаленно не напоминающими те иные пределы, коих мы были, некогда (вероятно), достойны. И с которыми ни в какое сравнение не входит эта бледная грешная, странная земля...

...Корабельные сосны косо и неприятно нависали над крутизной обрыва, канадские срезанные клены в солнечном сочном восходе, казалось, безмолвно слушали небо; иные – словно молились, стоя на коленях вокруг моего сына и источника. Иные, жалобно выставив дупла своих сучков, угрюмо показывали их мне, эти черные дыры – следы ежегодной обрезки, как воины показывали бы свои раны. «И этим деревьям – и то не благо здесь, на земле», – так ясно легло на мою душу, словно кто-то вслух сказал мне эти слова, даже и не называя их, а так, одной мыслью...

Я окликнул сына. Он весело и легко побежал ко мне в горку, торопливо прыгая и выбирая, куда ступить... Боже мой! И эта радость встречи с сыном, не омраченная на этой неудобной, строгой и равнодушной ко всему земле, – на этой холодной и пустой планете, – эта радость встречи показалась мне так дорога, что я, пожалуй, не отдал бы ее за все богатства мира.

И всё думалось, когда мы шли вместе домой и несли воду с источника: «Господи, а где же души наши? Ведь они – с Тобой и у Тебя. И какова будет встреча наша с Тобой, ведь все мы – лишь печалинки и лишь горчинки по тебе. Хоть и сами так часто не осознаем этого. Мы все-все дети Твои...»

* * *

Невыразимо прекрасное небо весной 21-го года. Но есть и что-то грозно предупреждающее в этой красоте. И при постоянных ветрах, движении туч и облаков. Белоснежные на грозном желто-зеленом фоне, они постоянно бегут и встают, и вновь волшебным возникают самыми причудливыми очертаниями, меняются в столпах света и солнца рядом – то с чернильно-дымным небесным пространством, то индиго. И вот они идут – движутся и стоят – не движутся: те, что вверху надо мной, – быстрее, те, что вдаль, – медленнее, и от этой их медлительности кажется, что текут они в другую сторону. Получается, что облака и тучи кружат и кружат. И так – и неделю, и две... И все это время – красный, пылающий, грозный закат... Затем – опять желтый, палящий, с вы-

соким индиго – желтый восход. И над всей этой пышной красотой – красный уголь солнца.

Сказано в Писании, что когда смотрите на красное солнце, говорите: завтра будет холодно... И как истинно-страшно это: «...МалOVERы... Знамения солнца умеете понимать, а знамения Духа – нет...»

И кажется странным, невозможным, кажется нелепейшей выдумкой, как можно заразить это небо, этот мир Божий каким-то вирусом, невидимым, незримым, который невозможно осязать, обонять, видеть... Каким-то подобием радиации. Неужели, кто-то осмелился покуситься на это намеренно. Немыслимо. Дьявольская затея.

* * *

Работаю, пишу теперь мало, и всё меньше и меньше, исключительно для себя. Где-то в письмах-эпистолярной десятитомной Алексея Толстого сказано так, что кто же станет писать на необитаемом острове, если будет знать доподлинно, что никто и никогда не прочтает его рукописей... Никто. Только сумасшедший. Вот я такой сумасшедший и есть. При СССР, сета на цензуру, «диссиденты» жаловались, что работать над рукописями можно только на перспективу, писали в стол. Теперь нет смысла и в стол складывать. Мало у кого из пишущих ныне не детективы и не фэнтэзи с «попаданцами» в иные миры и иные измерения – и мало у кого из честно пишущих и не прогибающихся под нынешнего невзыскательного читателя есть перспективы напечатать книгу. Если он не богат... А богатых, «с полной мошной», честных писателей я не встречал. Зато пышным, махровым венником расцветает бульварщина, детективы секретарш и бездельниц-любовниц хапуг – их мужей... Беда в том, что девять десятых из читающих не способны отличить художественную литературу от поделок и подделок. И это не их вина. Вкус начитывается десятилетиями. Даже и образование не гарантирует «вкус». Даже филологическое. Взята намеренно планка на понижение вкуса, на унижение народа, души народной – через книгу. Через театр, кино... А фильмы, эти сериалы на ТВ со стреляющими из всех видов орудий и оружия дамами? Обязательно в обтягивающих одеждах, обязательно влиятельными и самыми догадливыми следователями выставляют их. Зачем? Кто-то видел, как стреляют в тире сударыни? Даже опытные? Я вижу постоянно... Это даже не смешно. Жизнь давать – у них лучше получается... Чем отнимать её.

Понятно, что великие произведения рождаются и находят читателя – стихи и песни, проза и музыка, театр, настоящий, а не Гоголь-центры – когда идёт великая созидательная работа. Или отечественная, в защиту Родины своей – война. Когда же торжище и гвалт на торжище, непрекращающийся гешефт, и вместо великих фигур созидателей являются караси, способные купить что угодно и кого угодно, – не нужна ни литература, ни песни, ни театры. Ведь великое – оно всё о совести, сердце, чести, любви... То есть не помогает красть, а мешает. И вот писатели упрекают власти в наши дни: нет поддержки, нет внимания. А если есть – то внимание самой пошлой, гадкой стороне: человеческим экскрементам. Понятно почему, эти хоть не устыжают. Или биографии строчат, или про колдунов, или вампиров. Про предателей и величайших подлецов. По сравнению с которыми наши – вполне ещё терпимы... кажутся. Не жаловаться, а радоваться бы: хоть не пытаются в застенках. Чужая власть отчуждает народ... И вот уже театрала, «режиссера», ставящего гадко Достоевского, где женщины играют мужчин, а прекрасные персонажи с великим

сердцем, как сам Достоевский, у него гады и гадёныши, – вот его, стремящегося всячески потрафить вкусу этих молодых, народившихся уже с гаджетами манкуртов, даже его молодёжь называет «бумером». Кто же таков теперь «бумер» на их сленге? Это отсталый, потерянный мамонт. Перестарались... потрафлять этой новой породе, этим инопланетянам в человеческом образе. Кто они?

...За недавний рассказ, напечатанный в журнале «Гостинный двор» в Оренбурге, меня отругал даже свой брат-писатель. В рассказе речь от лица девочки пятнадцати лет, речь её и судьба в 96-м году. Он заявил мне: «Такого не бывает. В пятнадцать лет девочка-подросток – это уже хитрая и корыстная баба»...

Недавно каким-то чудом открыли дневники Иоанна Кронштадтского. Дневники эти писаны им тоже «для себя». И писаны так: предложение на немецком, на английском. Потом – по латыни. И так – на пяти языках. Святые не хотели, чтобы современники их прочли. Они писали для себя, для своей души, внимая, «внутрь – имая», в себя, ибо «внутри вас есть царствие Божье»... Меня же томит неуслышанность. Почему? Потому ли, что я не святой? Потому ли, что я так и не отыскал это Царство внутри себя, и оттого эта одинокость и надежда, пусть и слабая, быть услышанным?

...Не одиночество, а вот именно – одиночество...

* * *

«Кто внушил тебе, что жизнь всякого человека – такая драгоценность, “подарок” от Бога?» – как-то с сомнением и иронией услышал я вопрос своей совести, с потаенным сарказмом, – точно бес, спрашивал меня некто.

«Играй-живи, – говорили древние, и Эпиктет, – а когда пройдет интерес, можешь уйти. Дверь открыта, никто не держит...» И вот я разговариваю с одним, вторым, третьим своим попутчиком – и ни у кого не нахожу болезненно-нервного ощущения зряшности этой жизни, нет сознания бесцельности уходящего момента – того самого ощущения, что так присуще мне. Почему? Они живут без запросов души? Не нахожу и отдаленно того, чем мучаю себя я сам.

«Глупости, – опять словно услышал я, – никто никого не держит. Дверь открыта...»

Утро. Крепкий вояка с красным лицом, бывший директор завода, разворованного теперь и сданного под склады и в аренду, – он прогуливает возле дома добермана. И вот – поразительно пустые разговоры его со мной: о кошке, о работе в горячем цехе, о его, вояка, перевязанной руке, которая заболела в самый неподходящий момент и которую, быть может, надо в гипс. А уж на рентген – точно, и опять – о еде, о ценниках на еду, и все это бесконечно, и никак не уйдешь. И вот приходится кивать, подыгрывать, выслушивать «в глубину» существо вояка, да и не его одного. И ведь девять десятых живущих рядом со мной – именно так, на таком уровне живут всегда, до самой могилы.

Два часа он гулял с собачкой – и никаких угрызений совести, что транжирит жизнь, Богом данную. Отчего же у меня – так, до болезненности остро это ощущение: пустой траты бытия бесценной жизни, дарованной каждому, и мне в том числе – отпущенного, за пустоту которой придется отвечать? Словно во мне заложено что-то выполнить, успеть, и этот неотработанный долг мучит. А время идет. Или это просто гордыня? Вид гордыни?.. Как найти покорность истинную, стяжать смирение? Как понять своё, поставить парус и плыть?

«Положись на волю Божию, и дела твои свершатся в срок», – а это откуда? Нет, это уже не «некто». К Нему, к Его голосу стоит прислушаться.

* * *

Случайно включил – просмотрел небольшой репортаж американцев о большой женщине, которую лечили и оперировали врачи-хирурги, лазерными скальпелями исправляя врожденный ее недуг – порок головного мозга. Они были вынуждены на несколько часов отделить ее голову от тела, искусственно питая и мозг, и сердце. Не знаю, можно ли верить этому, как высадке американцев на Луне. Но дело даже не в этом, а вот в чем: Джойс писал своего «Уллиса» – почти слепым, Кафка – был нервнобольным, и не только нервно, Мопассан в конце жизни превратился из красавца-гребца в сумасшедшее животное. Он не выдерживал даже дневного света. А Акутагава Рюноске, а Марсель Пруст... Но всех их объединяет одно, а именно то, что когда они писали – они были счастливы. Счастье – субъективное понятие. Одним оно, скорее всего, по сути своей, заурядно, вяло, как вода в болоте, и поэтому многие, прожив так, – так и не поняли, что они жили счастливо. А ведь это истина, и далеко не всем дано в этой жизни насладиться безмятежным счастьем обывателя, и еще того меньше – счастьем творца. Главное – понять, осознать то, что прожили – и было оно, счастье. (Сытый боров, лежащий в грязной луже, тоже по-своему счастлив.) «Ну, да что же! Ведь много прочих, / Не один я в миру живой...» – в стремлении к самоуспокоению сказал однажды молодой, самый, быть может, несчастнейший из людей. А нам он кажется и сегодня счастливцем: и молод, и галантлив, и красив был. Жизнь его вошла в легенду. А ему самому эталоном казался Пушкин: «Стою и говорю с тобой... Я умер бы сейчас от счастья, / Сподобленный такой судьбе»...

А кому-то А. Рэмбо.

А кому-то актеришко, сыгравший Рэмбо... «Первая кровь»...

Так здоровый человек смотрит на муки оперируемого – и в это время сам не может быть осенен даже сознанием счастья (хотя бы удовольствия от своего собственного здоровья). А что его волнует в это время? Возможность крупного ценового падения его акций на бирже? Ревность? И проч. и проч... А где же счастье? А счастья нет, и не было.

Самое высшее счастье, доступное здесь, на земле: здоровье, творчество и жизнь в духе. «Тело – не более ли одежды, а душа – не более ли мира?»

Женщина, прооперированная так сложно, когда очнется, будет ли счастлива? Почувствует ли она себя счастливой, вот вопрос.

* * *

Два друга, встретившись:

– Я слышал, что ты женился?

– Женился. Как на льду обломился.

Первый вздохнул:

– Это да... Один женился – с головой пропал, другой женился – свет увидал.

Знаешь армянскую поговорку: «Жена может создать дом, да такой, что и шайтан не создаст. И разрушить такой дом, что и шайтан не разрушит...»

Расходились они, прощаясь, тоже в глубоком раздумье.

* * *

Мука да вода. А взболтал, посолил – и в печь, и вот уже и хлеб. И есть в этом хлебе нечто от самого Бога. Плотяное, созданное, сотворенное им из милости к человеку... Тело человеческое – из глины с водой, а тело Христово – хлеб и вино, преосуществленные. Какой глубочайший символ в причастии! В хлебе – человеке, растворяемом в крови Христовой, в потире!

«Я – хлеб жизни» и «источник жизни». Кровь – вино от щедрой лозы. Так и отдельно: муж да жена – есть только тогда одно, единое, и могут назваться людьми, когда в течение жизни взболтаются, смешаются, взойдут от малой закваски, как вода и мука, как вода и глина, – когда переживут, перетерпят многое вместе, станут не просто водой да мукой, но тестом уже, но печью жизни обоженным единым. Не глиной (прахом), но телом человеческим, сотваренным – Богу сотварны станут они. Вот где величайшая из тайн нашей церкви и надежд. И тогда – воскресение. Растворение же их – в крови Христовой – их посмертная участь. Сочти так: здесь, на земле уже – тайна бессмертия нашего!

* * *

И питание от Бога тела человеческого, – то, что поддерживает в нем жизнь физическую, – есть само проявление любви к нему, к человеку. Питание, воспитание – есть уже и сама любовь, питающая тело и душу во всех отношениях. Вот отчего, как предупреждение человеку, именно голод часто предшествовал большим бедам на земле. И отказ Бога ДУХОВНО ПИТАТЬ ЧЕЛОВЕКА ТОЖЕ. Мы знаем множество примеров. В период Возрождения из истории в Европе. Падение веры и голод предшествовал большим бедам и в России. И то, что на Пасху 2020 года само причастие – духовное питание мирян было пресечено по причине коронавируса, который, в сущности, не нов: изучался ещё в 1978 году в медицинских институтах, вузах при СССР. Не сам ли человек отказался от причастия из-за боязни заболеть? А закрытые храмы на Пасху? И високосный год здесь не при чём.

История знает примеры, когда цари входили в чумные бараки – поддержать силу духа солдат своим присутствием.

* * *

Сегодня март, двадцать третий день. Совершенно сумасшедший, мокрый, мартовский снег, тяжелый и сырой. Острый, неумный, сыпет и сыпет. Валит огромными хлопьями, словно охапками. Русская баба, в поту, еле двигает – сдвигает с платформы мокрый снег двуручным скребком, приседает от тяжести его с налипшим снегом. Скребок сотворен так, что очень широк, для двоих-троих, не меньше. Баба уже и сама еле двигается, телогрейка – хоть выжми.

Ей – другая такая же – кричит с дальнего конца платформы:

– Анна Тимофеевна, тяжелая лопатка. Да снег налипает еще!

В ответ:

– Какая разница, Тань, тяжелая ли, нет ли... Мне быстрее надо!

...В этом вся русская женщина, безропотно-терпеливая страдальца. Русская женщина не думает о себе, а вот быстрее – то надо, и все. И никаких поблажек или условностей. И зачем быстрее? Затем, что и там, куда спешит она, – и там дела, скорее всего и ещё тяжелее, чем даже на платформе в март скребком возить.

И вот, проходя, спросил:

– Помочь?

Взглянула, взмахнула рукой:

– Сама управлюсь.

– Когда же отдыхаете? Каждое утро с темна – вы уже здесь.

– Когда сдохнем – тогда и отдохнем.

...Как глубоко, страшно виноваты мы, русские мужики, перед ними. Бездонна неумолима вина наша, и «к небу вопиет», как великий смертный грех... Мыслима ли вот за таким скребком американка или голландка? А немка? Полька?

Впоследствии я всё же разузнал её историю. Молода была, не разглядела человека. Пил Бил. Развелась. Двое детей. Чтобы прокормиться, согласилась на фиктивный брак с каким-то Файзуллой. Расписались – он и был таков. Теперь ищи-свищи. Пятый уж год. За гроши он приобрел угол в Подмосковном доме, прописку. А ей ни соцпомощь на детей не оформить, ни льготы. В беседе объясняют просто: вы женаты, мы даём малоимущим, а ваш Файзулла, быть может, миллионер. Пусть предъявит справку о доходах. Утрет русская баба слезу, да и за скребок, за рельсы наравне с мужиками... пристяжная детьми: куда их денешь. А за жильё заплатить, за «ЖКУ» без льгот, обувь-одеть, накормить – вот и тащит повозку с детьми. И ни веры уже, ни надежды на такое государство. Быть может, оттого и живет наша Россия – жива, хоть и унижительно, да так стыдно, что горько-безжалостны мы к нашим женщинам, женам, старухам...

Где вы, мужики русские, а-у...

Впрочем, есть и иные дамы. В столице. Сорок два – она генерал-майор. Знает, кому и когда улыбнуться. Да и вообще, красавица. За 10-12 лет до генерал-майора поднялась. Комментатор и пресс-атташе... Знаки и за боевые заслуги. Ордена и медали. Горько и сравнивать. Конечно, столица, она столица и есть. А за пятьдесят километров?..

* * *

Переход подземный к Рижскому вокзалу. Сидит, просит подаяния стриженный наголо мальчишка лет девяти. Перевернутый картуз на ледяной плитке пуст. Он сидит, как зачарованный. Недалеко от него – безрукий старик, подняв вверх глаза, будто молится. У согнутых коленей – несколько мелких железных монет. Еще через двести метров стоит овчарка. Прижав уши, она держит в пасти на клыкке банку из-под майонеза «Провансаль». Эта баночка – пластмассовое ведро – до верха набита бумажными купюрами и монетой...

Что-то хронически не так в этом перевернутом мире. Пусто у нищего мальчишки и старика. Пса жалеют гораздо больше. Не ошибаюсь ли я? Остановился, стал наблюдать. И точно! Время от времени к барбосу подходит хозяин в кепке, лет сорока, с сигаретой в зубах, и выгребает «на корм собаке»... Выживет ли такая нация, которая предпочитает ближнему, спасению жизни ближнего – «спасение» собаки?.. Его с завистью провожает взглядом беспризорник. Голая спина его словно вылеплена из глины. Рёбра, «флейта-позвоночник»...

На выходе из метро, у забора с кустами, все усыпано одноразовыми, белое с красным, словно поплавками, – одноразовыми шприцами. Недалеко – храм святого мученика Трифона, днем он всегда пуст. И надпись, и дата памяти святого. Но и здесь, на площади у метро дата и надпись: «31 августа 2004 года террористка-

смертница... Десять убитых... Погибших... 51 раненый...» И ни одной погибшей собаки... Человек, женщина, призванная самой природой стать матерью, пришла сюда с поясом смертницы и отняла жизни у себе подобных...

Нет, мы здорово проигрываем четвероногим. Это верно. И айфоны, компьютеры – вовсе не показатель ни ума, ни развития «Планеты людей» – как назвал её знаменитый лётчик, писатель-француз, нравственник, сбитый в тумане на войне... Антуан де Сент-Экзюпери – и тот не удержался на крыльях в «ночном полёте этой жизни».

«И даруй нам бодренным сердцем и трезвенною мыслию всю настоящего жития ночь прейти, одолеть ночь временного сего бытия» – сказано в пятой молитве Василия Великого. Её включили в утренние молитвы.

С этой мыслью я и покинул площадь у метро Рижская. Москва!

* * *

Теперь это кажется невероятным, но я помню, как меня крестили. Мне было два месяца от роду. Церковь казалась безмерно высокой, белоснежный снаружи. Я глядел вверх – как в трубу, уходящую шатрами в высь среди изгибов свода. И спланирована она была так, будто купол вверху оплетен паутиной «хоров» – хоров-выемок, с окошечками-полусферами.

Со словами священника «Дунь и плюнь», помню, мне стало невыразимо страшно, я завозился и заплакал... Я, младенец, не увидел никого. Но липкий, холодный страх присутствия зла, и зла, ставшего немощным на какое-то время, – это чувство осталось со мной навсегда.

Особенно поразило меня, двухмесячного (странно, что я все это помню) тогда, – поразило то, что едва священник понес меня куда-то (как оказалось позднее – в алтарь), во мне тут же подало голос некое мудрое и всезнающее существо. Существо это, я знаю, есть во всяком человеке. Даже не существо, сущность, некая субстанция... Оно и сказало мне, что несут меня в алтарь, и еще сказало, что напрасно жду я чуда. Напрасно. Чуда – этого великого явления мне Бога – Света в алтаре – не будет... И я вдруг осознал всем младенческим сердцем своим, что я в мире – один. Ни папа, ни мама – никто не поможет в этом холодном и страстном мире. И вот родившись – я крещен. Как немощный цветок, теперь я открыт для предстоящих ударов судьбы, и надо набраться сил противостоять им. «Дунь и плюнь» – это объявление войны аду. Беспощадной войны.

Кто-то, то ли вне меня, то ли совсем рядом, то ли во мне самом, – морочил меня и смеялся язвительно надо мной. И при этом казался совершенно прав: там, куда меня принесли (в алтаре), и в самом деле не случилось никакого чуда, хоть душа ждала и замирала в ожидании этого чуда. Красивые семисвечники, а на стекле – икона Христа-пастыря, со вскинутой в приветствии нашедшего стада пастыря рукой, десницей, на которую всю жизнь придётся надеяться теперь, – вот и все, что способно было удивить неискушенный взгляд младенца. То, чего предвкушало сердце за Царскими воротами, – не было... И от этой внезапно открывшейся пустоты, отсутствия ожидаемого чуда, от испуга перед грядущими трудами и тяготой жизни – так занемело испуганное маленькое сердце.

До сих пор помню и то разочарование, которое постигло тогда, при крещении. Подобного я не испытывал впредь никогда. «Смотри, никого и ничего здесь нет, – словно шепнул мне некто слева, – алтарь пуст... Он пуст всегда...» И я обомлел

от испуга. Закричал, заплакал навзрыд. Забился в пеленках в руках крестной – восприемницы.

Но – отчего и чье было это нашептывание? Не знаю до сих пор. Странно, что этот «кто-то» оказался прав: ничего того, ради чего замирала душа моя и ждала радости... Тот, ради которого я пришел в сей мир, – никого этого тайного, зримого не встретил я и впоследствии. И до сих пор. Только тень... Величайшую тень Его всеприсутствия.

Но и тень, величие тени Его, поражает.

* * *

Дни нашей жизни... Они похожи на дрящееся похмелье. И как похмельный ищет вина, чтобы опять очароваться нелепыми мыслями и видениями, – отравить себя, свою душу, так и мы, живущие, жаждем жить. Мы ждем все новых и новых дней, которые будто бы принесут нам новые впечатления и события, заставят забыть прошлое – освободят, откроют новое. Но одновременно сознаем, что и события, и покупки, все эти поиски праздника жизни, смена действий – все это самообман, и ничего кардинально не похожего на предыдущее – нет и быть не может.

Похмелье жизнью не отдалить и не оставить. Каждый жаждет жить и иметь. Но у каждого: у одного – раньше, у другого – позже наступает отравление. Навсегда. Навечно. И если взглянуть бегло, то и внешне – все, кому за сорок, – все, даже и не пьющие, кажутся с похмелья. Вялая кожа, потухшие глаза. Неизлечимо. Их похмелье – к концу, а они все еще живут для внешнего человека, внутренний же забыт и измучен. «Внутренний человек» – единственно только и предназначен для Царства Божия. И вот прокатывают жизнь на шикарных машинах, просиживают в дорогих ресторанах, кутаются в собольи шубки – ищут, чем бы ебя порадовать. Но радость недолга... Часто так и до самой смерти не подозревают, что насытить, согреть, напитать и обрадовать человека внутреннего можно лишь совершенно иной пищей, иным бытием в идеальном мире, но он им неведом. Мы все больны и очарованы жаждой наживы, ошельмованы жаждой влияния, желанием нравиться и излучать успех. Мы убаюканы этим миром. «В мире скорбны будете...» – сказано будто не нам.

А убаюканы, не растём духовно – вот и войны, вирус, кризис, потрясения частного характера, ветшает тело, уходит здоровье.

И спохватываются поздно. Чаще – и вовсе не спохватываются.

Проснись, мир человек... «Помоги временного жития этого ночь перейти» – сказано в пятой молитве Василия Великого. И как точно!

